

СОВРЕМЕННАЯ И КЛАССИКА

Морис Дрюон

СИЛЬНЫЕ  
МИРА  
СЕГО

«ИНОСТРАНКА»



Конец людей

Морис Дрюон

**Сильные мира сего**

«Азбука-Аттикус»

1948-1951

**Дрюон М.**

Сильные мира сего / М. Дрюон — «Азбука-Аттикус»,  
1948-1951 — (Конец людей)

ISBN 978-5-389-08877-1

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья, и книге «Сильные мира сего», рассказывающей о закулисах современного общества, о закате династии финансистов и промышленников. Роман «Сильные мира сего» открывает трилогию «Конец людей» – наиболее значительное произведение Дрюона. Эти люди, жившие во Франции в начале XX века, могли похвастаться родственными связями с французской знатью. Их состояние исчислялось миллионами франков. Их дети были самыми богатыми наследниками в Париже. Почему же не было мира в этой семье? Чего не хватало для счастья сильным мира сего? Роман «Сильные мира сего» был экранизирован. Главную роль в фильме гениально сыграл Жан Габен. Лента вошла в золотой фонд мирового кинематографа.

ISBN 978-5-389-08877-1

© Дрюон М., 1948-1951

© Азбука-Аттикус, 1948-1951

# Содержание

Пролог	6
Глава первая	10
1	10
2	13
3	16
4	19
5	21
6	26
7	29
Глава вторая	31
1	31
2	34
3	36
4	38
5	41
6	45
7	47
8	50
9	53
10	57
Глава третья	61
1	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

# Морис Дрюон

## Сильные мира сего

*Посвящается маркизе де Бриссак, княгине фон Аренберг*

Maurice Druon

LES GRANDES FAMILLES

Copyright © 1968, by Maurice Druon

© Я. Лесюк (наследники), перевод, 2014

© Ю. Уваров (наследники), перевод, 2014

© М. Кавтарадзе (наследники), перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство Иностранка®

## Пролог

Стены больничной палаты, деревянная мебель – все, вплоть до металлической кровати, было выкрашено эмалевой краской, все прекрасно мылось и сияло ослепительной белизной. Из матового тюльпана, укрепленного над изголовьем, струился электрический свет – такой же ослепительно белый и резкий; он падал на простыни, на бледную роженицу, с трудом поднимавшую веки, на колыбель, на шестерых посетителей.

– Все ваши хваленые доводы не заставят меня переменить мнение, и война тут тоже ни при чем, – произнес маркиз де Ла Моннери. – Я решительно против этой новой моды – рожать в больницах.

Маркизу было семьдесят четыре года, он доводился роженице дядей. Его лысую голову окаймлял на затылке венчик жестких белых волос, торчавших, как хохол у попугая.

– Наши матери не были такими неженками! – продолжал он. – Они рожали здоровых детей и прекрасно обходились без этих чертовых хирургов и сиделок, без снадобий, которые только отравляют организм. Они полагались на природу, и через два дня на их щеках уже расцветал румянец. А что теперь?... Вы только взгляните на эту восковую куклу.

Он протянул сухонькую ручку к подушке, словно призывая в свидетели родственников. И тут у старика внезапно начался приступ кашля: кровь прилила к голове, глубокие борозды на отечном лице покраснели, даже лысина стала багровой; издав трубный звук, он сплюнул в платок и вытер усы.

Сидевшая справа от кровати пожилая дама, супруга знаменитого поэта Жана де Ла Моннери и мать роженицы, повела роскошными плечами. Ей давно уже перевалило за пятьдесят; на ней был бархатный костюм гранатового цвета и шляпа с широкими полями. Не поворачивая головы, она ответила своему деверю властным тоном:

– И все же, милый Урбен, если бы вы свою жену без промедления отправили в лечебницу, она, быть может, и по сию пору была бы с вами. Об этом в свое время немало толковали.

– Ну нет, – возразил Урбен де Ла Моннери. – Вы просто повторяете чужие слова, Жюльетта, вы были слишком молоды! В лечебнице, в клинике – где угодно – несчастная Матильда все равно бы погибла, только она еще больше страдала бы от того, что умирает не в собственной постели, а на больничной койке. Верно другое: нельзя создать христианской семьи с женщиной, у которой столь узкие бедра, что она может пролезть в кольцо от салфетки.

– Не кажется ли вам, что такой разговор вряд ли уместен у постели бедняжки Жаклины? – проговорила баронесса Шудлер, маленькая седоволосая женщина с еще свежим лицом, устроившаяся слева от кровати.

Роженица слегка повернула голову и улыбнулась ей.

– Ничего, мама, ничего, – прошептала она.

Баронессу Шудлер и ее невестку связывала взаимная симпатия, как это нередко случается с людьми маленького роста.

– А вот я нахожу, что вы просто молодец, дорогая Жаклина, – продолжала баронесса Шудлер. – Родить двоих детей в течение полутора лет – это, что бы ни говорили, не так-то легко. А ведь вы превосходно справились, и ваш малютка – просто чудо!

Маркиз де Ла Моннери что-то пробормотал себе под нос и повернулся к колыбели.

Трое мужчин восседали возле нее: все они были в темном, и у всех в галстуках красовались жемчужные булавки. Самый молодой, барон Ноэль Шудлер, управляющий Французским банком, дед новорожденного и муж маленькой женщины с седыми волосами и свежим цветом лица, был человек исполинского роста. Живот, грудь, щеки, веки – все было у него тяжелым, на всем как будто лежал отпечаток самоуверенности крупного дельца, неизменного победителя в финансовых схватках. Он носил короткую черную как смоль остроконечную бородку.

Этот грузный шестидесятилетний великан окружал подчеркнутым вниманием своего отца Зигфрида Шудлера, основателя банка «Шудлер», которого в Париже во все времена называли «барон Зигфрид»; это был высокий, худой старик с голым черепом, усеянным темными пятнами, с пышными бакенбардами, с огромным, испещренным прожилками носом и красными влажными веками. Он сидел, расставив ноги, сгорбив спину, и, то и дело подзывая к себе сына, с едва заметным австрийским акцентом доверительно шептал ему на ухо какие-нибудь замечания, слышные всем окружающим.

Тут же, у колыбели, находился и другой дед новорожденного – Жан де Ла Моннери, прославленный поэт и академик. Он был двумя годами моложе своего брата Урбена и во многом походил на него, только выглядел более утонченным и желчным; лысину у него прикрывала длинная желтоватая прядь, зачесанная надо лбом; он сидел неподвижно, опершись на трость.

Жан де Ла Моннери не принимал участия в семейном споре. Он созерцал младенца – эту маленькую теплую личинку, слепую и сморщенную: личико новорожденного величиной с кулак взрослого человека выглядывало из пеленок.

– Извечная тайна, – произнес поэт. – Тайна самая банальная и самая загадочная и единственно важная для нас.

Он в раздумье покачал головой и уронил висевший на шнурке дымчатый монокль; левый глаз поэта, теперь уже не защищенный стеклом, слегка косил.

– Было время, когда я не выносил даже вида новорожденного, – продолжал он. – Меня просто мучило. Слепое создание без малейшего проблеска мысли... Крохотные ручки и ножки со студенистыми косточками... Повинуясь какому-то таинственному закону, клетки в один прекрасный день прекращают свой рост... Почему мы начинаем ссыхаться?... Почему превращаемся в таких вот, какими мы нынче стали? – добавил он со вздохом. – Кончаешь жить, так ничего и не поняв, точь-в-точь как этот младенец.

– Здесь нет никакой тайны, одна только воля Божья, – заметил Урбен де Ла Моннери. – А когда становишься стариком, как мы с вами... Ну что ж! Начинаешь походить на старого оленя, у которого притупляются рога... Да, с каждым годом рога у него становятся короче.

Ноэль Шудлер вытянул свой огромный указательный палец и пощекотал ручку младенца.

И тотчас над колыбелью склонились четыре старика; из высоких туго накрахмаленных глянцевиных воротничков выступали их морщинистые шеи, на отечных лицах выделялись лишенные ресниц багровые веки, лбы, усеянные темными пятнами, пористые носы; уши оттопыривались, редкие пряди волос пожелтели и топорщились. Обдавая колыбель хриплым свистящим дыханием, отравленным многолетним курением сигар, тяжелым запахом, исходившим от усов, от запломбированных зубов, они пристально следили за тем, как, прикасаясь к пальцу деда, сжимались и разжимались крошечные пальчики, на которых кожа была тонка, словно пленочка на дольках мандарина.

– Непостижимо, откуда у такого малютки столько силы! – прогудел Ноэль Шудлер.

Четверо мужчин застыли над этой биологической загадкой, над этим едва возникшим существом – отпрыском их крови, их честолюбий и ныне уже угасших страстей.

И под этим живым четырехглавым куполом младенец побагровел и начал слабо стонать.

– Во всяком случае, у него будет все для того, чтобы стать счастливым, если только он сумеет этим воспользоваться, – заявил, выпрямляясь, Ноэль Шудлер.

Гигант отлично знал цену вещам и уже успел подсчитать все, чем обладает ребенок или в один прекрасный день станет обладать, все, что будет к его услугам уже с колыбели: банк, сахарные заводы, большая ежедневная газета, дворянский титул, всемирная известность поэта и его авторские права, замок и земли старого Урбена, другие менее крупные состояния и заранее уготованное ему место в самых разнообразных кругах общества – среди аристократов, финансистов, правительственных чиновников, литераторов.

Зигфрид Шудлер вывел своего сына из состояния задумчивости. Дернув его за рукав, он громко прошептал:

– Как его назвали?

– Жан Ноэль, в честь обоих дедов.

С высоты своего роста Ноэль еще раз бросил цепкий взгляд темных глаз на одного из самых богатых младенцев Парижа и горделиво повторил, теперь уже для самого себя:

– Жан Ноэль Шудлер.

С городской окраины донесся вой сирены. Все разом подняли головы, и только старый барон услышал лишь второй сигнал, прозвучавший более громко.

Шли первые недели 1916 года. Время от времени по вечерам «Цеппелин» появлялся над столицей, которая встречала его испуганным ревом, после чего погружалась во тьму. В миллионах окон исчезал свет. Огромный немецкий дирижабль медленно проплывал над потухшей громадой города, сбрасывал в тесный лабиринт улиц несколько бомб и улетал.

– Прошлой ночью в Вожираре попало в жилой дом. Говорят, погибло четыре человека, среди них три женщины, – проговорил Жан де Ла Моннери, нарушив воцарившееся молчание.

В комнате наступила напряженная тишина. Прошло несколько мгновений. С улицы не доносилось ни звука, только слышно было, как неподалеку проехал фиакр.

Зигфрид снова сделал знак сыну, и тот помог ему надеть пальто, подбитое мехом; затем старик опять уселся.

Чтобы поддержать беседу, баронесса Шудлер сказала:

– Один из этих ужасных снарядов упал на трамвайный путь. Рельс изогнулся в воздухе и убил какого-то несчастного, стоявшего на тротуаре.

Неподвижно сидевший Ноэль Шудлер нахмурил брови.

Поблизости вновь протяжно завывала сирена, госпожа де Ла Моннери манерно прижала указательные пальцы к ушам и не отнимала их, пока не восстановилась тишина.

В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и в палату вошла сиделка. Это была рослая, уже пожилая женщина с поблекшим лицом и резкими жестами.

Она зажгла свечу на ночном столике, проверила, хорошо ли задернуты занавески на окнах, потушила лампу над изголовьем.

– Не угодно ли вам, господа, спуститься в убежище? – спросила сиделка. – Оно находится здесь же, в здании. Больную нельзя еще трогать с места, врач не разрешил. Быть может, завтра...

Она вынула младенца из колыбели, завернула его в одеяло.

– Неужели я останусь одна на всем этаже? – спросила роженица слабым голосом.

Сиделка ответила не сразу:

– Полноте, вы должны быть спокойны и благоразумны.

– Положите ребенка вот здесь, рядом со мной, – проговорила молодая мать, поворачиваясь спиной к окну.

В ответ на это сиделка лишь прошептала: «Тише!» – и удалилась, унося младенца.

Сквозь открытую дверь роженица успела разглядеть в синеватом сумраке коридора тележки, в которых катили больных. Прошло еще несколько мгновений.

– Ноэль, я думаю, вам лучше спуститься в убежище. Не забывайте, у вас слабое сердце, – проговорила баронесса Шудлер, понижая голос и стараясь казаться спокойной.

– О, мне это ни к чему, – ответил Ноэль Шудлер. – Разве только из-за отца.

Что касается старика Зигфрида, то он даже и не старался подыскать какое-нибудь оправдание, а сразу поднялся с места и с явным нетерпением ждал, когда же его проводят в убежище.

– Ноэль не в состоянии оставаться в комнате во время воздушных тревог, – прошептала баронесса госпоже де Ла Моннери. – В такие минуты у него начинается сердечный приступ.



Члены семьи де Ла Моннери не без презрения наблюдали за тем, как суетятся Шудлеры. Испытывать страх еще можно, но показывать, что боишься, просто непозволительно!

Госпожа де Ла Моннери вынула из сумочки маленькие круглые часики.

– Жан, нам пора идти, если мы не хотим опоздать в Оперу, – проговорила она, выделяя слово «Опера» и подчеркивая этим, что появление дирижабля не может ничего изменить в их вечерних планах.

– Вы совершенно правы, Жюльетта, – ответил поэт.

Он застегнул пальто, глубоко вздохнул и, словно набравшись смелости, небрежно прибавил:

– Мне еще нужно заехать в клуб. Я отвезу вас в театр, а потом уеду и возвращусь ко второму акту.

– Не беспокойтесь, мой друг, не беспокойтесь, – ответила госпожа де Ла Моннери язвительным тоном, – ваш брат составит мне компанию.

Она наклонилась к дочери.

– Спасибо, что приехали, мама, – машинально проговорила роженица, ощутив на своем лбу торопливый поцелуй.

Затем к кровати подошла баронесса Шудлер. Она почувствовала, как рука молодой женщины сжала, почти стиснула ее руку; на мгновение она заколебалась, но затем решила: «В конце концов, Жаклина мне всего лишь невестка. Раз уж уходит ее мать...»

Рука больной разжалась.

– Этот Вильгельм Второй настоящий варвар, – пролепетала баронесса, пытаясь скрыть смущение.

И посетители поспешно направились к выходу: одних гнала тревога, другие торопились в театр или на тайное свидание; впереди шли женщины, поправляя булавки на шляпах, за ними, соблюдая старшинство, следовали мужчины. Затем дверь захлопнулась, наступила тишина.

Жаклина устремила взор на смутно белевшую пустую колыбель, потом перевела его на слабо освещенную ночником фотографию: она изображала молодого драгунского офицера с высоко поднятой головой. В углу рамки была прикреплена другая, маленькая фотография того же офицера – в кожаном пальто и в забрызганных грязью сапогах.

– Франсуа... – едва слышно прошептала молодая женщина. – Франсуа... Господи, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось!

Глядя широко раскрытыми глазами в полумрак, Жаклина вся превратилась в слух; тишину нарушало лишь ее прерывистое дыхание.

Внезапно она различила далекий гул мотора, доносившийся откуда-то с большой высоты, затем послышался глухой взрыв, от которого задрожали стекла, и снова гул – на этот раз ближе.

Женщина вцепилась руками в край простыни и натянула ее до самого подбородка.

В это мгновение дверь отворилась, в нее просунулась голова с венчиком белых волос, и тень разъяренной птицы – тень Урбена де Ла Моннери заметалась на стене.

Старик замедлил шаги, потом, подойдя к кровати, опустился на стул, на котором несколько минут назад восседала его невестка, и ворчливо сказал:

– Меня никогда не занимала опера. Лучше уж я посижу здесь, с тобой... Но что за нелепая мысль рожать в таком месте!

Дирижабль приближался, теперь он пролетал прямо над клиникой.

## Глава первая Смерть поэта

### 1

Воздух был сухой, холодный, ломкий, как хрусталь. Париж отбрасывал огромное розовое зарево на усеянное звездами и все же темное декабрьское небо. Миллионы ламп, тысячи газовых фонарей, сверкающие витрины, световые рекламы, бегущие вдоль крыш, автомобильные фары, бороздившие улицы, залитые светом театральные подъезды, слуховые оконца нищенских мансард и огромные окна парламента, где шли поздние заседания, ателье художников, стеклянные крыши заводов, фонари ночных сторожей – все эти огни, отраженные поверхностью водоемов, мрамором колонн, зеркалами, драгоценными кольцами и накрахмаленными манишками, все эти огни, эти полосы света, эти лучи, сливаясь, создавали над столицей сияющий купол.

Мировая война окончилась два года назад, и Париж, блестящий Париж, вновь вознесся в центре земной планеты. Никогда еще, быть может, поток дел и идей не был столь стремительным, никогда еще деньги, роскошь, творения искусства, книги, изысканные кушанья, вина, речи ораторов, украшения, всякого рода химеры не были в такой чести, как тогда – в конце 1920 года. Доктринеры со всех концов света изрекали истины и сыпали парадоксами в бесчисленных кафе на левом берегу Сены, в окружении восторженных бездельников, эстетов, убежденных ниспровергателей и случайных бунтовщиков – они каждую ночь устраивали торжище мысли, самое грандиозное, самое удивительное из всех, какие только знала мировая история! Дипломаты и министры, прибывшие из различных государств – республик и монархий, – стиливались на приемах в пышных особняках неподалеку от Булонского леса. Только что созданная Лига Наций избрала местом своей первой ассамблеи Часовой зал и отсюда возвестила человечеству начало новой эры – эры счастья.

Женщины укоротили платья и стали коротко подстригать волосы. Возведенный еще при Луи Филиппе пояс укреплений – поросшие травой валы и каменные бастионы, – в котором Париж чувствовал себя удобно целых восемьдесят лет, это излюбленное место воскресных игр уличных мальчишек, внезапно показался тесным, старинные форты сносились с лица земли, рвы засыпались, и город раздался во все стороны, заполняя огороды и жиденькие садики высокими зданиями из кирпича и бетона, поглощая старинные часовни бывших пригородов. После победы Республика избрала своим президентом одного из наиболее элегантных людей Франции; через несколько недель он стал жертвой безумия<sup>1</sup>.

Больше чем когда-либо олицетворением Парижа в те годы считалось общество, верховным законом которого был успех; двадцать тысяч человек захватили и держали в своих руках власть и богатство, господство над красотой и талантами, но положение и этих баловней судьбы оставалось неустойчивым. Пожалуй, их можно было сравнить с жемчугом, который тогда особенно вошел в моду и мог служить их символом: встречались среди них настоящие и поддельные, отшлифованные и не тронутые резцом; нередко приходилось наблюдать, как в несколько месяцев меркла слава самого блестящего человека, а ценность другого перла возрастала с каждым днем. Но никто из двадцати тысяч не мог похвалиться постоянным, ярким, слепящим сиянием – этим подлинным свойством драгоценного камня, все они поблескивали тем тусклым, словно неживым, светом, каким мерцают жемчужины в глубинах моря.

---

<sup>1</sup> Речь идет о Поле Дешанеле, который был президентом Франции в 1920 году.

Их окружали два миллиона других человеческих существ. Эти, видно, не родились на путях удачи либо не сумели добиться успеха или даже не пытались его достичь. Как и во все времена, они делали скрипки, одевали актрис, изготавливали рамы для картин, написанных другими, расстилали ковры, по которым ступали белые туфельки знатных невест. Те, кому не повезло, были обречены на труд и безвестность.

Но никто не мог бы сказать, двадцать ли тысяч направляли труд двух миллионов и обращали его себе на пользу, или же два миллиона, движимые потребностью действовать, торговать, восхищаться, ощущать себя причастными к славе, увенчивали избранных диадемой.

Толпа, ожидающая пять часов кряду, когда же наконец проедет королевская карета, испытывает больше радости, чем монарх, приветствующий из экипажа эту толпу...

И все же люди уходящего поколения, те, к кому старость пришла в годы войны, находили, что Париж клонится к закату вместе с ними. Они оплакивали гибель истинной учтивости и французского склада ума – этого наследия восемнадцатого века, которое, по их словам, они сохранили в неприкосновенности. Они забывали, что отцы их и деды в свое время говорили то же самое, забывали также и то, что сами прибавили многие правила к кодексу учтивости и обрели «разум» – в том смысле, в каком они теперь употребляли это слово, – лишь под старость. Моды казались им слишком утрированными, нравы – слишком вольными: то, что во времена их юности почиталось пороком, то, что они всегда либо отвергали, или уж, во всяком случае, скрывали – гомосексуализм, наркотики, изощренный и даже извращенный эротизм, – все это молодежь выставляла теперь напоказ, словно вполне дозволенные забавы; поэтому, сурово порицая современные нравы, старики не могли избавиться от некоторой доли зависти. Новейшие произведения искусства они считали недостойными этого высокого имени, новомодные теории представлялись им выражением варварства. С таким же пренебрежением относились они и к спорту. Зато с явным интересом отмечали они прогресс науки и то с любопытством и наивной гордостью, то с раздражением наблюдали, как техника все больше заполняла их материальный мир. Однако вся эта суеда, утверждали они, убивает радость, и, сожалея об исчезновении привычных им, более спокойных форм цивилизации, они уверяли, окидывая взглядом окружающую жизнь, что весь этот фейерверк долго не продлится и ни к чему хорошему не приведет.

Можно было сколько угодно пожимать плечами, но их мнение было не только извечным брюзжанием стариков: между обществом 1910 года и обществом 1920 года легла более глубокая, более непроходимая пропасть, нежели между обществом 1820 года и обществом 1910 года. С Парижем произошло то, что происходит с людьми, о которых говорят: «Он в одну неделю постарел на десять лет». За четыре года войны Франция состарилась на целый век; возможно, то был последний век великой цивилизации, вот почему ненасытная жажда жизни, отличавшая в те годы Париж, напоминала лихорадочное возбуждение чахоточного.

Общество может быть счастливым, хотя в недрах его уже таятся симптомы разрушения: роковая развязка наступает позднее.

Точно так же общество может казаться счастливым, хотя многие его члены страдают.

Молодые люди возлагали на старшее поколение ответственность за все уже возникшие или еще только надвигавшиеся беды, за трудности нынешнего дня, за смутные угрозы грядущего. Старики, некогда входившие в число двадцати тысяч или еще остававшиеся в числе этих избранных, слышали, как им предъявляют обвинения в преступлениях, в которых, по их мнению, они вовсе не были повинны: их упрекали в эгоизме, в трусости, в непонятливости, в легкомыслии, в воинственности. Впрочем, и сами обвинители не выказывали большого великодушия, верности убеждениям, уравновешенности. Но когда старики отмечали это, молодые вопили: «Ведь вы сами сделали нас такими!»

И каждый человек, словно не замечая сияния, исходившего от Парижа, следовал по узкому туннелю собственной жизни; он напоминал прохожего, который, видя перед собой

лишь темную полосу тротуара, не обращает внимания на гигантский ослепительный купол, раскинувшийся над ним и освещающий окрестность на несколько миль вокруг.

## 2

Задыхаясь, с трудом перемещая свою огромную тушу, мамаша Лашом поднялась по лестнице метро и застыла посреди вокзальной площади.

– Да ты потише, Симон, – прохрипела она. – Мне за тобой не угнаться. Тебе, понятно, не терпится меня спровадить... Но ты все-таки не забывай, у меня ноги-то опухли.

От холода щеки у нее покрылись красными пятнами. Глаза были скрыты набухшими веками, из-под усатой верхней губы вырывались клубы молочно-белого пара и медленно расплывались в морозном воздухе.

Симон поставил чемодан на асфальт и протер очки.

Вокруг них носильщики в синих халатах катили груженные тележки, суетливые пассажиры, кутаясь в пальто, переговаривались, подзывали такси. Автомобили в три ряда стояли вдоль тротуара, и свет, падавший сквозь стеклянный навес вокзала, играл на их никелированных частях.

– Вот, дожила до старости, – продолжала мамаша Лашом, – и в первый раз попала в Париж. А только уж больше не приеду сюда до самой смерти. Замучилась! Везде лестницы: у тебя лестница, в гостинице лестница, в метро лестница – везде... Бедные мои ноги!

Она возвышалась, как гора, равнодушно взирая на окружавшую ее вокзальную суматоху. Была вся в черном. Черное платье, ниспадавшее до пят, и почти такое же длинное черное пальто облекали громадное бесформенное тело; на плечах – черный платок. Даже серьги в ушах были черные – из черного дерева. Голову этого монумента украшала плоская шляпа, напоминавшая маленький венок из черного бисера, какие иногда возлагают на гроб.

Какой-то малыш, которого мать тащила за руку, с изумлением уставился на эту огромную старуху, зацепился ногой за ее чемодан, получил подзатыльник и заревел.

– Пора идти, мать, – проговорил Симон, едва сдерживая раздражение. – Приготовь билет.

Узкоплечий Симон ростом был ниже матери; его курносое лицо скрашивал очень высокий лоб.

Старуха наконец сдвинулась с места, заколыхалась ее грудь, заколыхались бедра.

– Если бы твоя жена захотела, – проговорила она, – я могла бы остановиться у вас. Не было бы лишних расходов и не так бы я уставала.

– Но ведь ты сама видела, какая у нас теснота, – ответил Симон Лашом. – Где, по-твоему...

– Ну, понятно, понятно... А только ты меня не разубедишь. Да уж все равно отцу скажу, что ты счастлив и живешь хорошо... О твоей жене упоминать не стану... По правде сказать, не люблю я твою жену.

Симону хотелось крикнуть: «Да я и сам не люблю ее, даже не знаю, почему я на ней женился!...» Толпа со всех сторон стискивала его, тесно прижимала к матери. Старуха заняла весь проход, где стоял контролер; приподняв подол платья, она неторопливо рылась в кармане нижней юбки, отыскивая билет. Даже ее «воскресный» наряд сохранил запах навоза и прокисшего молока. Симон невольно отодвинулся.

Наконец они вышли на перрон. Паровоз пассажирского поезда тяжело пыхтел, пар из трубы стлался над асфальтом. Окутанная этим теплым белым туманом, мамаша Лашом снова остановилась и сказала:

– И все-таки обидно! Сколько мы жертв ради тебя принесли. Неужели ты не чувствуешь себя счастливым?

– Я вам сто раз говорил, что вы не шли ради меня ни на какие жертвы! – вспыхнул Симон. – Учился я на грошовую стипендию и чуть не подыхал с голоду. Ведь вы за всю мою жизнь не дали мне ни одного су... Впрочем, нет: когда я уходил на военную службу, отец с важным

видом вручил мне пятифранковую монету... И это все... Даже во время войны ты ни разу не прислала мне посылку...

– А как знать-то было наверняка, дойдет ли посылка? Тебя ведь могли убить, что тогда? Пропадай, значит, посылка?

Симон покачал лобастой головой. Гнев его стихал, натываясь на эту вязкую, непроницаемую, извечную преграду. Стоит ли говорить? Запах смазочного масла, дыма и сажи, вырывавшейся из паровозной трубы, еще более осязаемый запах прокисшего молока, тяжесть чемодана, топот спешивших людей, вид этой старухи, доводившейся ему матерью, чувство собственного унижения, оттого что он снова дал втянуть себя в бессмысленный, бесконечный спор, – все было ему противно. А холод, пронизавший его на улице, точно тисками, сжимал виски.

– Да ты на меня не сердись, – продолжала мать, – мы очень даже гордимся тобой. Что правда, то правда. Когда ты задумал учиться, мы ведь не препятствовали. Мы тебя содержали до четырнадцати лет, из последних сил выбивались... Ты же хорошо знаешь, сколько в ту пору за поденщину платили батраку – пятьдесят, а то и пятьдесят пять су... А потом ты уехал, как раз когда в возраст вошел и мог бы отрабатывать свой хлеб. А теперь вот ты живешь хорошо, одеваешься так, как ни твой отец, ни я никогда не одевались...

Она бросила взгляд, в котором сквозили и уважение и упрек, на самое обыкновенное пальто сына, на его синие брюки, уже начавшие пузыриться на коленях.

– ...Так уж ты постарайся посылать нам денег, если можешь, конечно. Все ж таки будет подспорье нам, а главное – твоему бедному брату, ведь мы должны о нем заботиться, ты же знаешь, в каком он состоянии.

– Как ты можешь просить меня об этом?! – возмутился Симон. – Тебе отлично известно, что я с трудом свожу концы с концами, я даже не знаю, удастся ли мне оплатить издание моей диссертации. А вам, слава богу, на жизнь хватает. У вас земли больше, чем вы в силах обрабатывать, и вы бы давно разбогатели, не будь отец таким пьяницей. Зачем же... Зачем попрошайничать?! – снова взорвался он.

Мамаша Лашом приподняла свои дряблые веки, уставилась на сына круглыми тусклыми глазами. Симон подумал, что сейчас на эту великаншу нападёт приступ ярости, которая в детстве наводила на него ужас. Но нет, возраст смягчил нрав старухи, годы сделали свое. Она не хотела ссориться с сыном.

– Я ему свое, а он свое, – сказала она со вздохом. – Не понимаем мы больше друг друга. Раз уж ты надумал избрать себе легкое ремесло, пошел бы лучше в священники. Тогда б ты не стал для нас таким чужаком.

Боясь окончательно возненавидеть мать, Симон заставил себя подумать о том, что он, быть может, никогда больше ее не увидит. И поступил как хороший сын, как сын, который, несмотря ни на что, почитает родителей и оказывает им всяческое внимание: он предложил старухе руку, чтобы ей легче было идти.

– Это только городские дамочки под ручку с мужчинами ходят, – запротестовала она. – Я всю жизнь ходила сама, без посторонней помощи и своей привычки не оставлю до гробовой доски.

Размахивая руками, она тяжело двинулась дальше и не произнесла больше ни слова, пока не уселась в вагон. Со стоном вскарабкалась она по ступенькам. Симон устроил мать на жесткой скамье, а чемодан положил в сетку.

– Никто там не тронет? – спросила старуха, с опаской глядя вверх.

– Нет, нет.

Мать посмотрела на вокзальные часы.

– Осталось еще двадцать минут, – пробормотала она.

– Мне пора идти, – проговорил Симон, – я и так уже опоздал.



Наклонившись, он едва прикоснулся губами к ее поросшей седыми волосками щеке. Толстые, заскорузлые пальцы мамыши Лашом впились в запястье сына.

– Не вздумай только снова исчезнуть лет на пять – ведь ты так обычно делаешь, – говорила она глухо.

– Нет, – ответил Симон. – Как только дела позволят, обязательно приеду к вам в Мюро. Обещаю тебе.

Мать все не выпускала его руки.

– А все-таки, – сказала она, – посылай ты нам кой-когда денег, хоть самую малость... Мы тогда по крайности будем знать, что ты о нас изредка вспоминаешь...

Когда Симон пошел по перрону к выходу, старуха даже не поглядела ему вслед. Она уже погрузилась в свои мысли, потом вытащила из-под верхней юбки желтый платок и, скомкав его, приложила к глазам.

### 3

На улице Любека под окнами небольшого особняка был настлан толстый слой соломы, чтобы заглушить шум колес. Обычай расстилать солому перед жилищем знатных людей, пораженных тяжелым недугом, уходил в прошлое вместе с лошадьми; он сохранился лишь в обиходе нескольких старинных семей как торжественный обряд – предвестник близких похорон.

С минуту помедлив, Симон Лашом нажал чугунную кнопку звонка.

Возле дома стоял большой черный автомобиль с тускло светившими фарами; неподалеку, разминая ноги, прохаживался шофер.

Входная дверь отворилась. Старый слуга согнулся в поклоне при виде молодого человека.

В то же мгновение на лестничной площадке показалась Изабелла, племянница поэта.

– Идите скорее, господин Лашом, – проговорила она, подбирая упавшую на лоб прядь волос. – Он вас ждет.

Изабелле д'Юин было лет тридцать. На ней было темное шерстяное платье. Ее смуглое некрасивое лицо с острым подбородком осунулось от усталости, под глазами залегли глубокие тени.

Симон бросил на стоявший в передней огромный ларь в стиле Возрождения свое серое пальто с помятыми отворотами; тут уже лежали дорогие пальто, подбитые черным шелком, и шубы с воротниками из выдры, украшенные ленточкой Почетного легиона или розетками других орденов. Лашом торопливо протер очки.

Сквозь полуоткрытую дверь маленькой гостиной он разглядел двух важных худых стариков; они сидели, вытянув длинные ноги в остроносых ботинках.

– Он в полном сознании и сохранил ясность ума, – сказала Изабелла, поднимаясь по лестнице впереди Симона.

Достигнув второго этажа, они прошли через рабочий кабинет, где Симону так часто приходилось сидеть; тут было много китайских вещей: шкатулки, шкафчики, ширмы красного лака с причудливыми черными цветами; повсюду лежали книги – роскошные фолианты соседствовали с брошюрами, запылившиеся, истрепанные тома перемежались с новенькими, еще не разрезанными, валялись стопки каких-то бумаг и гравюры. Две большие увядшие хризантемы, должно быть, стояли уже несколько дней, ибо вода в вазе помутнела.

В соседней комнате умирал поэт Жан де Ла Моннери.

Его спальня была обставлена в стиле ампир; бархатная обивка мебели, тяжелые портьеры и гардины были блекло-желтого цвета, кусок шелка того же цвета служил абажуром для лампы в изголовье кровати и смягчал свет. На мраморной доске комода высился бюст поэта, выполненный в 1890 году Ривольта; формовщик придал материалу вид бронзы, но ссадина на носу отсвечивала белым, и становилось ясно, что бюст гипсовый. Стоявшие на камине большие часы в мраморном футляре звонко отсчитывали секунды. До самой последней минуты, пока поэта не одолела болезнь, он работал у себя в спальне; стоявший возле окна ломберный столик с инкрустацией был завален листами бумаги, письмами, книгами.

В комнате царил застоявшийся запах болезни и старости, восточного табака, росного ладана для ингаляций, испарявшегося спирта, сладковатых микстур – запах одновременно едкий и приторный; воздух был нагрет раскаленными металлическими шарами, нарочно положенными в камин.

На широкой кровати со столбиками, украшенными бронзовыми кольцами, неподвижно лежал Жан де Ла Моннери. Глаза его были закрыты, под спину подложены подушки. Кожа на лице приобрела лиловатый оттенок, впалые щеки поросли седой щетиной, издали напоминавшей рассыпанную соль. По белой подушке извивалась длинная прядь волос, обычно покры-

вавшая лысое темя, из влажного воротника ночной сорочки выступала изборожденная глубокими морщинами худая шея. Простыни были скомканы.

Человек лет шестидесяти, в щегольском смокинге, с надменным и самодовольным выражением лица и тронутыми сединой волосами, гладко выбритый и румяный, сжимал пальцами запястье больного, не отрывая глаз от бегущей секундной стрелки на своих золотых часах.

Когда Симон приблизился к кровати, Жан де Ла Моннери приподнял веки. Блуждающий взгляд его серых глаз (левый глаз косил) остановился на вошедшем.

– Друг мой... как мило с вашей стороны, что вы навестили меня, – глухо произнес поэт; хриплое дыхание с шумом вырывалось из его груди.

Как всегда учтивый, он захотел представить посетителей друг другу:

– Господин Симон Лашом, молодой, но необыкновенно талантливый ученый...

Человек в смокинге и тугом крахмальном воротничке слегка кивнул и произнес:

– Лартуа.

– Нынче утром – исповедник, – задыхаясь, проговорил поэт, – вечером – вы, мой врач и верный друг, а вот теперь – мой ученик и, я бы сказал, мой снисходительный критик... А сверх того возле меня неутомимо бодрствует добрый ангел, – прибавил он, обращаясь к племяннице. – Чего еще может пожелать умирающий?

Он вздохнул. Жилы на его шее напряглись.

– Полно, полно, все обойдется. Теперь, когда жар спал... – проговорил Лартуа, и в его голосе зазвучали профессионально бодрые интонации, не вязавшиеся с выражением лица. – Вы еще нас удивите, дорогой Жан!

– Масло в лампаде иссякло, – прошептал поэт.

В комнате на мгновение наступило молчание, слышно было только, как отсчитывает секунды стрелка мраморных часов.

Сиделка-монахиня, подобрав кверху и заколов булавкой края своего огромного чепца, кипятила в ванной комнате шприцы.

Левый глаз умирающего вопросительно уставился на Симона.

Вместо ответа молодой человек извлек из кармана пачку типографских оттисков.

– Когда она выйдет в свет? – спросил Жан де Ла Моннери.

– Через месяц, – ответил Симон.

Смешанное выражение гордости и печали появилось в глазах поэта и на мгновение оживило синюшное лицо.

– Этот юноша, – обратился он к врачу, – посвятил моему творчеству свою докторскую диссертацию... всю целиком... Послушайте, Лартуа, я себя прекрасно чувствую, отправляйтесь на свой званный обед. Славная вещь эти обеды! А потом, когда я уже буду...

Затянувшаяся пауза стала невыносимой.

– ...вы по праву займете освобожденное мною кресло, – закончил поэт.

Профессор Лартуа, член Медицинской академии, который в лице Жана де Ла Моннери терял одного из наиболее надежных своих сторонников при ближайших выборах во Французскую академию, огляделся вокруг и пожалел, что эти слова, прозвучавшие как торжественное напутствие, были произнесены почти без свидетелей. И он впервые обратил внимание на дурно одетого молодого человека с непропорционально большой головой, стоявшего рядом с ним и близоруко щурившего глаза, скрытые стеклами очков в металлической оправе; словно приглашая всех разделить свое восхищение умирающим, Лартуа бросил на невзрачного посетителя взгляд, означавший: «Какой удивительный ум, не правда ли? Какая возвышенная душа! И это в преддверии смерти!»

Он издал короткий смешок, как будто речь шла об обычной шутке.

– Оставляю вас в обществе вашей славы, – произнес он, дружески положив руку на плечо Симона. – Я заеду еще раз в одиннадцать часов.

И Лартуа вышел в сопровождении Изабеллы.

Длинными пальцами в темных пятнах Жан де Ла Моннери перебирал пачку оттисков.

– Как трогательно!.. Как трогательно!.. – прошептал он.

Вновь он медленно перевел взгляд на молодого человека, потом глаза умирающего затуманились.

– Как прекрасно это звучит: *слава*, – едва слышно произнес он.

## 4

Лартуа спускался по лестнице слегка подпрыгивающей походкой, высоко подняв голову.

– Доктор, сколько ему еще осталось жить? – вполголоса спросила Изабелла, взглянув на профессора блестящими от слез глазами.

– Все зависит вот от этого, – ответил Лартуа, прикасаясь к левой стороне груди, – но, полагаю, можно говорить лишь о нескольких часах... Ведь сегодня он уже дважды терял сознание...

Они вошли в маленькую гостиную. Урбен и Робер де Ла Моннери поднялись им навстречу.

– Я могу только повторить вам то, что сейчас говорил Изабелле, – сказал Лартуа. – Роковой исход может наступить в любую минуту. Воспаление легких удалось приостановить, однако сердечная мышца... сердечная мышца... Наступают минуты, когда наша несовершенная наука уже не в силах ничего сделать. Если речь идет о таком необыкновенном человеке и друге, то это поистине ужасно... Дорогая девочка, не найдется ли у вас листка бумаги?

– Для рецепта? – спросила Изабелла.

– Нет, для бюллетеня о состоянии здоровья.

Братья умирающего молчали. Маркиз дважды или трижды покачал головой, окаймленной венчиком белых волос.

Генерал Робер де Ла Моннери, самый младший из четырех братьев Ла Моннери, подышал на красную розетку, украшавшую лацкан его сюртука, словно хотел сдуть пылинку.

Лартуа писал: «Вечерний бюллетень».

Внезапно рука его остановилась. В глазах вспыхнули два странных ярких и неподвижных огонька: Изабелла склонилась над столом, ее немного низкая грудь отчетливо вырисовывалась под шерстяным джемпером, утомленное тело издавало слабый аромат. Лартуа попытался заглянуть в глаза Изабелле, но она, всецело поглощенная горем, этого не заметила.

Присутствующим казалось, что Лартуа размышляет. Два неподвижных огонька медленно погасли, и врач продолжал выводить своим убористым и острым почерком: «Работа органов дыхания значительно улучшилась. Наблюдается частичная сердечная недостаточность. Прогноз пока неясен».

«Это удовлетворит всех, – подумал он, – профанов и моих коллег. Смерть не покажется неожиданной...»

Он подписался: «Профессор Эмиль Лартуа».

Постоянно видя свою фамилию в газетах, когда речь шла о знаменитых людях, находившихся на смертном одре, он чувствовал, что и сам становится знаменитым.

Лартуа направился в переднюю, надел шубу, поданную лакеем, натянул на красивые холеные руки замшевые перчатки и направился к черному лимузину, стоявшему у подъезда.

Несколько минут спустя сиделка прошла по длинному коридору и постучала в дверь, которая вела на половину госпожи де Ла Моннери. Не услышав ответа, она постучалась вторично.

– Войдите, – раздался нетерпеливый голос.

Госпожа де Ла Моннери сидела за столом, на котором лежали цветные карандаши и стояли баночки с красками, и лепила из хлебного мякиша куколок, а затем одевала их в платья из серебряной бумаги. Ее бархатный, подбитый ватой халат ниспадал на пол. Пышные седые волосы были чуть подкрашены слабым раствором синьки.

– Слушаю вас, сестра, – сказала она. – Говорите громче.

– Сударыня, ваша племянница поручила мне... – начала монахиня.

– Ах, моя племянница? – произнесла старая дама, резко передернув плечами.

Выслушав монахиню, госпожа де Ла Моннери заявила с каменным выражением лица:

– При жизни он легко обходился без меня, отлично обойдется и перед смертью. Он причинил мне немало огорчений.

Затем добавила:

– Дочь уже предупредили?

– Да, сударыня, утром ей послали телеграмму.

– Значит, все идет как полагается, – заключила супруга поэта.

И она возвратилась к своим танцовщицам и пастушкам величиною с ноготок.

А в это время на первом этаже, в кухне, сидел, уронив руки на колени, старый лакей, в тот день облачившийся в поношенные брюки хозяина дома. Он то и дело вставал и подходил к приглушенно звонившему телефону (в аппарат был предусмотрительно заложен лоскут материи) или отпирал входную дверь, чтобы впустить запоздалого посетителя, желавшего оставить визитную карточку и осведомиться о состоянии больного. Эти ночные визиты были последним отблеском полувековой литературной славы Жана де Ла Моннери.

Заплаканная кухарка готовила легкий ужин – «ведь не могут же братья господина графа сидеть всю ночь без еды!»

Старый Урбен сказал, обращаясь к собравшимся в маленькой гостиной:

– Как быть с похоронами? Трудно принять в замке Моглев столько людей. И помимо всего прочего, это слишком далеко.

– У д'Юинов есть фамильный склеп на Монмартрском кладбище, так будет проще. Думаю, что Жюльетта не станет возражать, – откликнулся генерал.

Генерал был ранен на войне, одно колено у него не сгибалось, и он сидел, вытянув перед собой прямую, как палка, ногу.

Наступило молчание, слышались только шаги сиделки, возвращавшейся по коридору от графини.

Затем старший из братьев произнес:

– Не по душе мне это кладбище.

– Но ведь его оставят там лишь на время! – заметил младший Ла Моннери.



## 5

Жан де Ла Моннери чувствовал, что очки слегка давят на переносицу. Все его ощущения были теперь приглушены.

Лишь одно оставалось отчетливым и единственно важным: казалось, чья-то невидимая рука забралась в грудь под левую ключицу и не переставая сжимает сердце. Он чувствовал, как отчаянно трепещет его жизнь, зажата этой рукой и ниоткуда не получающая помощи.

Перед ним на пюпитре, придвинутом к самым глазам, лежала печатная диссертация: «Жан де Ла Моннери, или Четвертое поколение романтиков».

В последний раз он вдыхал столь хорошо знакомый запах чуть влажной бумаги и свежей типографской краски, но запах этот казался больному скорее далеким воспоминанием, а не реальностью; рука его медленно перелистывала страницы – их было по шестнадцати в каждой пачке, составлявшей печатный лист. Взгляд скользил по ровным строкам; умирающий как будто хотел проникнуть в приговор грядущего. В его слабеющем мозгу это слово «грядущее» проносилось, подобно комете, которая оставляет светящийся след над беспредельными, темными, еще бесформенными материками.

Он понимал, что подошел к самому краю бездны по имени Небытие. Ей суждено навеки поглотить его, и от личности поэта Ла Моннери на земле останется лишь то, что смогут сохранить труды, подобные этой диссертации, – беглое изображение, плоское, как офорт, безжизненное, как гипсовый бюст, лживое, как история.

Неизбежная узость, ограниченность всякого исследования с особой силой заставила его почувствовать всю безмерность того, что должно было уйти вместе с ним. Сколько раз его наполняли восторгом внезапные и яркие озарения, сколько раз его мысль, блуждая по бесконечным лабиринтам, казалось, вот-вот отыщет ответ на извечные вопросы и сколько раз с таким трудом обретенная уверенность неумолимо исчезала! И теперь вся жизнь ума и души, какую не выразишь словами, должна была безвозвратно исчезнуть, раствориться без остатка во Вселенной. А постоянное, почти врожденное удивление, вызываемое мыслью о том, что мир столь велик, а человеческие деяния столь ничтожны! Кому дано воссоздать все это?

Только он один мог бы сказать, чем и как жил, к каким источникам припадал. Только он один знал, что принадлежит к числу тех немногих людей, которые отважились дойти до крайних пределов, огражденных невидимой стеной; он, Жан де Ла Моннери, почти каждый день наткнулся на преграду из черного мрамора, замыкающую область сознания, подолгу бродил вдоль этой стены в поисках выхода, пытался взбираться на нее, заглянуть в сферу бесконечного...

«Именно благодаря этим мгновениям, – подумал он, – я и стал великим человеком, да, только благодаря им... Не случайно бывали ночи, когда я терял сознание за письменным столом».

И все же – вопреки этим мыслям – он созерцал сквозь очки свой образ с тихой, снисходительной улыбкой, с невольным удовольствием, какое испытывает каждый человек, глядя на свой портрет.

И как сквозь слой ваты, донесся до него собственный голос:

– Отлично, отлично... Просто поразительно.

Стеснение в груди на минуту ослабело, словно рука, сжимавшая сердце, пошевелила онемевшими пальцами, затем безжалостные тиски сомкнулись еще сильнее.

«Не надо думать так напряженно, – сказал себе умирающий, – не надо доходить до черной стены...»

Он продолжал перелистывать страницы диссертации, и имя, дата или заглавие стихотворения то и дело вызвали в памяти далекое прошлое. Перед его мысленным взором внезапно

вставали воспоминания, ранее скрытые, погребенные под глубоким слоем жизненных впечатлений.

Жан де Ла Моннери вновь видел юношу в светлых панталонах и вышитом жилете; юноша этот обожал верховую езду, отлично фехтовал и презирал все окружающее. Дальнейшая жизнь подтвердила, что он был прав в своем презрении! Юноша надевал по вечерам сорочки с накрахмаленным, плоеным жабо и курил длинные итальянские сигары с воткнутыми в них соломинками, часто бывал у Леконта де Лиля и чувствовал себя в силах создать великое произведение, способное жить в веках. До сих пор еще в ящике комода, на котором стоял его бюст, хранились две или три сорочки тех времен, они уже давно стали ему тесны и совсем пожелтели!

На озеро, как лист, слетает с ветки птица...

Поэт почувствовал гнев и отвращение: этой строкой, бросившейся ему в глаза, когда он переворачивал страницу, начиналось стихотворение, принесшее двадцатичетырехлетнему юноше славу. «В то время, – писал Лашом, – еще можно было стать известным, написав лишь одно стихотворение». Да, именно оно и вошло во все антологии, его читали на всех литературных утренниках, приводили в письмах все поклонницы, комментировали все салонные льстецы. Неужели он, Жан де Ла Моннери, за целую жизнь не написал ничего более важного, более значительного? Неужели все девять томов его поэтических произведений были столь невесомы, что можно было беспрестанно, на протяжении всего жизненного пути и вплоть до самой могилы ссылаться все на те же тридцать небрежно написанных стихотворных строк, которые ныне даже он сам больше не считал дерзкими? Теперь они представлялись ему попросту старомодными. О ленивая публика, упрямо признающая лишь творения юности! О скупцы, не желающие вновь выражать свой восторг!

Да и сюжет этого стихотворения был позаимствован у Сюлли-Прюдом. Как-то раз они беседовали после обеда. Сюлли рассказывал о замыслах, роившихся в его голове, и Ла Моннери на лету подхватил высказанную им идею. Заметил ли кто-нибудь заимствование? Да, Лашом указывал на близость темы, но, по его словам, автор «Напрасной нежности» был вдохновлен Жаном де Ла Моннери и в том же году обратился в своем творчестве к центральной теме стихотворения «На озеро, как лист...».

Сюлли-Прюдом... Сперва друг, затем раздраженный соперник, почти враг... Что пользы восстанавливать истину? Он, Ла Моннери, ничем ему не обязан.

– У этого Лукреция буржуазии не имя, а какое-то нелепое младенческое прозвище, – чуть слышно прошептал умирающий.

Он чувствовал, что ему не следует раздражаться – боль под ключицей становилась от этого сильнее.

И все же, прочтя название главы «Предшественник символистов», он не мог удержаться от возмущенного жеста – казалось, он одним взмахом руки отбрасывает всех своих последователей, затем он презрительно произнес:

– Все это эпигоны!

С жадностью биографа Симон Лашом напряженно прислушивался к словам, которые слетали с уже посиневших губ поэта, и молча повторял их про себя, чтобы не забыть.

Но вот взгляд Жана де Ла Моннери привлекло приведенное целиком стихотворение, заглавию которому служило короткое посвящение: «Моей подруге, 16 января 1876 года». Серые глаза долго, так долго не отрывались от этих строк, что Симон подумал: «Должно быть, старик задремал». Но нет, сквозь стекла очков был виден напряженный взор поэта, он тщетно пытался проникнуть в прошлое и вырвать оттуда лицо или имя. Ведь если тут вместо заголовка поставлена дата, значит, он желал увековечить какой-то знаменательный день... Ему так хотелось вспомнить какую-либо примету: распушенные волосы, аромат духов, адрес – хоть что-

нибудь. Но все было напрасно: сохранилась лишь дата – больше ничего. Какая досада!.. Семьдесят шестой год... Год, когда у него было... четыре любовницы. Еще до связи с Кассини или в самом начале этой связи... Теперь Кассини со всеми ее воплями, неистовыми сценами, драмами казалась ему такой чужой, далекой, неживой, словно он никогда и не был с нею близок... Во всяком случае, это происходило задолго до его брака с Жюльеттой, брака по рассудку, на котором настоял Урбен... «Если ты будешь продолжать в том же духе, – сказал ему старший брат, – у тебя скоро не останется ни гроша. Самое лучшее для тебя – жениться на этой крошке, Жюльетте д'Юин». Тысяча восемьсот семьдесят шестой – великолепный год! Ему было тогда тридцать лет.

Умиравший снова вернулся к действительности.

– Сколько вам лет, Симон? – глухо спросил он.

– Тридцать три.

Старик вздохнул. Он почти не различал в полумраке Изабеллу и сиделку, которые неслышно двигались по комнате.

В это мгновение смотревший на него Симон с завистью подумал: «В моем возрасте Ла Моннери был уже знаменит, успел немало создать, и все женщины поклонялись ему». И в утешение сказал себе: «Я принадлежу к числу людей, к которым известность приходит поздно».

– У меня неостанет времени... – прошептал старый поэт, грустно покачивая головой.

Симон и Изабелла решили, что речь идет о чтении диссертации.

– Вы устали, дядюшка? – спросила Изабелла. – Я уберу...

– Нет, нет, не то, – проговорил умирающий, ухватившись за пюпитр. – Нет... Симон, прошу вас... мои бумаги, мои черновики... заклинаю вас... никаких писем раньше чем через пятьдесят лет.

В глубоком волнении Симон молча наклонил голову в знак согласия. Изабелла отвернулась, по ее лицу ручьем текли слезы. Найдя какой-то предлог, она поспешила выйти из комнаты: у нее не было сил наблюдать эту агонию при полном сознании.

Воспользовавшись тем, что племянница вышла, а сиделка чем-то занята в ванной, старик шепнул Симону:

– ...чем писать.

Симон подал ему листок бумаги и свою авторучку, невольно подумав при этом: «Жан де Ла Моннери напишет свои последние строки моей ручкой».

Перо плохо слушалось поэта. Неразборчивым почерком, царапая бумагу, он с трудом вывел: «Я Вас очень любил». Поставив вместо подписи большую букву «Ж», старик дрожащими руками сложил листок, написал на нем: «Госпоже Этерлен» – и вручил записку Симону, улыбнувшись ему, как сообщнику: поэт даже не указал адреса.

– Благодарю, – прошептал он.

Заметив, что племянница вернулась в комнату, он вновь устремил взор на пюпитр.

На пепелище чувств какой-то голос тайный...

Умиравший совсем обессилел, и теперь буквы прыгали у него перед глазами, слова казались темными пятнами на белой бумаге, и все же какое-то чутье помогло ему разобрать собственные стихи, написанные почти полвека назад:

На пепелище чувств какой-то голос тайный  
Зовет вернуться нас, отбросив время лет,  
Вернуться для того, чтоб этот час печальный  
Когда-нибудь тебя порадовал, поэт...

Значит, уже в то время он сознавал...

И внезапно в его мозгу будто вспыхнуло пламя. Мысли путались, и вместе с тем ему казалось, что еще никогда в жизни он так ясно не понимал, так логично не мыслил, хотя в действительности это ощущение было лишь иллюзией, миражем; в памяти всплывали различные образы и впечатления, переплетаясь и дополняя друг друга; тут было все: и ученик коллежа иезуитов в форменной курточке, и молодой человек в вышитом жилете, и Виктор Гюго, стоящий на площади Вогезов, с лицом, обрамленным библейской бородой, и ночные обмороки за письменным столом, и вопли Кассини, и уверенность в том, что творец всегда выше своего творения – мысль, помогавшая примириться с Богом... Он видел толпу на Брюссельской площади, слышал громовой гул аплодисментов и как будто различал вдали очертания того произведения, которое он вечно провидел, по сравнению с которым все его стихотворения и поэмы показались бы лишь капителями колонн и барельефами будущего храма; это совершенное творение ответило бы на все вопросы, возвышалось бы, подобно высокой башне, позволяющей заглянуть в бесконечность, явилось бы ключом от потайной двери в черной стене; после него можно было бы и не создавать ничего больше... А между тем огненная рука продолжала сжимать его сердце, он смутно угадывал очертания материков будущего, но сами они были теперь невидимы в кроваво-красном сиянии бесчисленных звезд; перед глазами плясали узкие языки пламени, перевивавшиеся, как золотые нити, которыми был расшит его мундир академика, – нет, то были скорее горящие фитили; затем перед ним возникло какое-то гигантское дерево с золотой листвой... Но вот все это стремительно рухнуло, рассыпалось мириадами искр. То, что происходило в его лихорадочно пылавшем мозгу, можно было сравнить со зрелищем горящего театра, на сцене которого актер торопится исполнить все свои роли подряд!

Уже несколько минут старик метался, произнося невнятные фразы; наконец Симон уловил:

– Сколько безвозвратно утраченных мыслей приходится на одну уцелевшую!

Затем прозвучали слова:

– Сон Орфея...

А потом стихотворная строка:

...Превыше всяких благ божественный покой.

Старая машина по изготовлению александрийского стиха сработала сама собою, перед тем как навсегда остановиться.

Сиделка приблизилась к кровати и сделала умирающему укол.

Он вытянулся и замер. И уже не заметил, как убрали пюпитр, – теперь туман расстился у самых его глаз.

Таинственная рука под левой ключицей разжалась, он уже почти не ощущал боли. Но нельзя было допустить, чтобы боль вовсе ушла. Ведь жизнь уходила вместе с нею, и умирающий в отчаянии ждал, когда же вернется боль. Ему хотелось кашлянуть, но он не решался, боясь потерять сознание, и предпочитал хрипло дышать, ибо эти хрипы, как ни были они мучительны, все же свидетельствовали о том, что он еще живет.

Ему казалось, что его чувства, речь, ход мыслей, память держатся теперь на тонкой ниточке – тонкой, как паутинка кокона. Одно неосторожное движение, одна слишком упорная мысль – и паутинка оборвется.

А тогда хрупкие частицы жизни разлетятся в разные стороны, как разлетаются колосья внезапно развязанного снопа; тогда все эти невидимые и невесомые колесики станут бесшумно вращаться в различных направлениях, не касаясь друг друга. Пожар в его мозгу потух, остался лишь пепел, и одно дуновение могло развеять его.

Жан де Ла Моннери снова услышал свой тихий голос:

– У меня не останется времени закончить...

Он знал: ему уже не дано увидеть, как распахнется дверь в черной стене.

Нестерпимо хотелось спать...

Чья-то рука коснулась его лица, и он почувствовал, что очки уже не давят на переносицу.

## 6

Братья поэта вошли в комнату и сели поодаль. Генерал незаметно зевнул, посмотрел на часы, подул на розетку ордена.

При их появлении Симон поднялся, освобождая место у постели, но Урбен движением руки остановил его и прошептал:

– Сидите, сидите.

Каждый раз, когда умирающий, не приходя в себя, начинал хрипеть, все поднимали головы, но сиделка отрицательно качала головой, давая понять, что это еще не конец.

Внезапно в начале одиннадцатого поэт приподнялся на своем ложе. Рука его скользнула по простыне, нащупала руку Симона и вцепилась в нее. Лицо старика побелело. Косящие глаза блуждали, один глаз смотрел прямо на Симона, но, должно быть, не видел его. Казалось, умирающий движется к пропасти, не будучи в силах остановиться. Потом в горле у него заклокотало, он всхлипнул, и голова запрокинулась.

Сиделка схватила шприц и вонзила иглу в уже бездыханное тело.

Симон не мог бы сказать, сколько времени он неподвижно созерцал остановившиеся серые глаза, видневшиеся из-под полуприкрытых век. Внезапно в силу какой-то необъяснимой мимики он почувствовал, что и у него самого сердце забилося слабее, на мгновение ему даже показалось, будто он теряет сознание. Симон Лашом заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть.

Он подумал, что именно ему следует закрыть глаза умершему, ведь именно к нему, Симону Лашому, был обращен последний, так и оставшийся неразгаданным призывный взгляд поэта. Со всей доступной ему почтительностью он собрался выполнить свой долг. Но из широкого белого рукава сиделки тут же высунулись два загрубевших коротких пальца, и она быстрым, привычным движением прикрыла покойному веки. Затем монахиня осенила себя крестом, тяжело опустилась на колени, и некоторое время в комнате не слышно было ничего, кроме тиканья часов на камине.

Наконец Урбен де Ла Моннери произнес:

– Бедный Жан! Вот и свершилось. Первый из нас четырех.

Он как-то сразу поник. Глаза его покраснели, и он долго не поднимал их от ковра.

Второй из братьев, Робер, генерал, машинально достал сигарету, поднес было ее ко рту, но устыдился и поспешно сунул в карман.

– Ему было двенадцать лет, когда ты родился, – произнес Урбен, глядя на генерала. – Мы с ним вместе отправились смотреть на тебя в колыбели. Я отлично помню.

Генерал кивнул головой с таким видом, словно и он это помнил.

Вдруг кто-то толкнул Симона в грудь, и он ощутил чье-то жаркое дыхание и услышал громкие всхлипывания. Изабелла прижалась к нему, бормоча:

– Бедный дядюшка... бедный дядюшка... Вам он обязан своим последним счастливым мгновением.

И горячие слезы обожгли шею Симона.

– Пожалуй, пора обрядить усопшего, – сказала сиделка, вставая.

– Я помогу вам, – прошептала Изабелла. – Да-да, я так хочу... Это мое право.

Мужчины вышли из комнаты, движимые не столько уважением к смерти, сколько страхом перед ней.

Спускаясь по лестнице, Симон представил себе, как две женщины снимают белье с худого и длинного старческого тела и протирают его ватой с такой же осторожностью, с какой протирают тело новорожденного.



\* \* \*

Полчаса спустя в ногах и у изголовья покойника уже стояли зажженные свечи; веточка букса окунала сухие листья в блюде с водой. В углу комнаты оставили гореть лампу – свечи не могли побороть темноту.

Под простыней, облаченный в чистую ночную сорочку, спал вечным сном Жан де Ла Моннери, в скрещенные на груди руки было вложено распятие, нижнюю челюсть поддерживала повязка.

Длинный профиль поэта отчетливо выступал из мрака на фоне желтой стены. Одинокая прядь волос, как и при жизни, прикрывала темя. Кожа на лице натянулась и приобрела оттенок розоватого мрамора, морщины разгладились. Лицо словно помолодело, на нем застыло выражение спокойного презрения, как будто усопший мог еще что-то чувствовать и выражал свое пренебрежение к тем суетным знакам внимания, которыми его окружали после смерти. Все близкие собрались у смертного ложа поэта.

В комнату уверенной поступью, держась подчеркнуто прямо, вошла госпожа де Ла Моннери. Она приблизилась к кровати, четырежды помахала веточкой букса над неподвижным телом мужа и равнодушно изрекла:

– У него хороший вид.

После чего удалилась.

Профессор Лартуа приехал чуть позже одиннадцати. Дверь ему отперла кухарка: старый Поль, подавленный горем, был не в силах двинуться с места.

– Господин граф скончался, – доложила кухарка.

Лартуа, не снимая шубы, прошел в комнату поэта. Чтобы засвидетельствовать смерть, он приблизился к покойнику, приподнял пальцем веко, тут же опустил его и произнес:

– Это произошло еще быстрее, чем я предполагал.

Затем он увлек Симона Лашома в коридор и попросил рассказать о последних минутах Жана де Ла Моннери.

– Прекрасная кончина, необыкновенная кончина! – прошептал Лартуа. – Дай бог каждому встретить с таким достоинством свой последний час.

Когда Симон повторил слова поэта: «У меня неостанет времени закончить...» – Лартуа заметил:

– Он, без сомнения, слагал какие-нибудь стихи. Видите ли, сознание стариков концентрируется на том, что было их главным жизненным делом. Во всех остальных областях их память, способности, чувства слабеют, как бы угасают. Так, например, впавший в детство математик не теряет умения интегрировать. Дольше всего мы сохраняем знания, связанные с нашей профессией. Если бы вы спросили нашего друга перед смертью о том, как зовут его дочь, он, возможно, не мог бы вам ответить, но он беседовал с вами о Сюлли-Прюдоме, а со мной – об Академии... Да, это так, – прибавил он. – Все дело в работе полушарий... или в чем-то еще, что выше нашего понимания.

– Господин профессор, – запинаясь, начал Симон, – знаете ли вы... знакомы ли вы с госпожой Этерлен? Где бы я мог получить ее адрес?

– О да, это весьма деликатная мысль, – сказал Лартуа, – я и сам нанесу ей визит. Бедняжка... Он говорил о ней?.. Вам нужен ее адрес, подождите...

Он достал записную книжку.

– Булонь-Бийанкур, улица Тиссандр, двенадцать... До свидания, друг мой, мы с вами еще увидимся. Непременно.

– Буду очень рад, профессор, – искренне отозвался Симон.

Через несколько минут появилась госпожа Полан, маленькая женщина с еще гладкой кожей: ее привел сюда безошибочный инстинкт. На голове у нее красовалась старая шляпка, поверх пальто она надевала черную горжетку из кроличьего меха. На правой щеке возле самого подбородка у нее была бородавка, поросшая светлыми волосками. Семейная жизнь госпожи Полан сложилась не слишком счастливо. Она усердно посещала церкви, по целым часам простаивала возле катафалков с горящими свечами, и от этого на ее щеках постоянно горел лихорадочный румянец, а от одежды исходил запах ладана.

В семействе де Ла Моннери она время от времени выполняла роль добровольного секретаря, и когда кто-нибудь спрашивал: «Сколько же теперь может быть лет Полан?» – то обычно отвечали: «Постойте, впервые она появилась у нас в девяносто втором году...» Чаше всего Полан приходила в дни траура.

Не успела она дойти до середины лестницы, как уже поднесла платочек к глазам. Со скорбным видом оглядела присутствующих, затем подошла к постели, опустилась на колени и принялась молиться, беззвучно шевеля губами; поднявшись с колен, она заключила в объятия Изабеллу, назвавшую ее «милой Полан»; затем с непостижимой быстротой осушила слезы и немедленно приступила к привычной ей роли жука-могильщика.

Она не могла себе простить, что опоздала. Обрядить покойников было ее излюбленным делом. И Полан тут же поспешила наверстать упущенное, благо предстояло еще облачить усопшего в парадный костюм. Понизив голос, она с гордостью объявила:

– Я умею брить умерших.

Непрерывно заверяя, что она готова взять на себя все хлопоты, дабы родные могли без помехи предаваться скорби, она тут же увлекла братьев поэта в угол и начала с ними шушукаться. Старый Урбен и генерал напряженно слушали, морщились и время от времени утвердительно кивали головой. По словам госпожи Полан, необходимо было облачить покойного в парадный мундир академика и выставить гроб для прощания в большой гостиной. Утром она отправится в мэрию и сделает объявление о смерти. Ведь не графиня же станет всем этим заниматься и не бедняжка Изабелла. Она, Полан, сама обо всем договорится и с похоронным бюро. У нее есть свои люди у Борниоля. Она пригласит кого-нибудь из представителей фирмы и подробно обсудит с ним порядок предстоящей церемонии, а затем представит его на утверждение братьям умершего. Дали знать Жаклине? Она, кажется, в Неаполе вместе с мужем? Прекрасно, прекрасно. Что касается лиц, которых надлежит известить о дне погребения, то она, Полан, сохранила список, составленный во время предыдущих похорон, это поможет никого не забыть; кстати, у нее есть и адреса всех родственников. Она ни на минуту не сомкнет глаз, договорится с монахиней о ночном бдении возле тела усопшего; на нее, Полан, можно во всем положиться, она сделает все, что нужно.

## 7

Симон Лашом возвращался домой пешком через мост Альма и по набережным Сены; температура упала на несколько градусов. Молодой человек слышал, как гулко отдаются его шаги в морозном воздухе. Но он почти не замечал холодного ветра, от которого щипало лицо. За его высоким лбом роились возвышенные мысли.

Он присутствовал при кончине Жана де Ла Моннери, возле умирающего лежала его, Симона, готовая диссертация. Знаменитый поэт обратил к нему свой последний взгляд, сжал его руку в миг расставания с жизнью. Великие люди подают друг другу руку перед лицом вечности. То было знаменательное событие – знаменательное своей предопределенностью. Гениальность рода человеческого – величина постоянная, подобно тому как постоянно количество редких газов в земной атмосфере; Симон был уверен, что он составляет частицу этой постоянной величины, принадлежит к числу тех, кто ведет всех прочих смертных по дорогам мечты и деяния.

Этот день был для него решающим, переломным днем; как будто внезапно захлопнулась дверь, замкнув навсегда горестный период жизни, и впереди его ожидало чудесное будущее, полное пока еще не ясных, но, несомненно, значительных событий. Судьба ударила в гонг.

«У меня неостанется времени закончить...» У всех неостанется времени закончить свой труд, но его продолжают другие, приходят тебе на смену, двигают дальше общее дело.

Симон с грустью подумал, что дом на улице Любека больше не будет радужным приютом, местом, где его всегда ожидал ласковый прием и дружеское покровительство, – отныне этот дом превратится для него в место воспоминаний и паломничества. Нет! Прежде всего в обитель труда! Великий поэт доверил ему заботу о своих рукописях. Отныне это будет первым делом Симона: он должен с благоговением отобрать самое ценное и подготовить посмертное издание, сохранить все сколько-нибудь важные мысли поэта. Ему вспомнились слова Жана де Ла Моннери об утраченных мыслях. Он приведет их в предисловии. Ибо он напишет это предисловие. И Симон тут же начал сочинять его...

Проходя мимо темного фасада здания Академии, возвышавшегося на небольшой полукруглой площади, он подумал: «Когда-нибудь и я буду заседать в этом здании».

Ему не терпелось поскорее добраться домой, чтобы записать все события, все подробности, все мысли, относящиеся к этому дню, пока они еще свежи в памяти... Но когда он дошел до Латинского квартала и на улице Ломон поднялся на четвертый этаж дома в свою тесную двухкомнатную квартиру, то внезапно ощутил усталость. Его приход разбудил жену; бесцветное лицо ее было некрасиво, глаза опухли от сна, влажные пряди волос прилипли к шее. Плаксивым голосом она пожаловалась, что долго ждала, но затем ее сморила усталость.

В нескольких словах он сообщил ей о том, что случилось.

– Ах, расскажи подробнее! – попросила она.

– Завтра, завтра, а теперь спи.

Он знал, что если заговорит, то ясный, отчетливый ход его мыслей, которые он спешил занести на бумагу, будет нарушен. Симон сел за стол, но за его спиной все время охала и ворочалась в постели жена, в плохо проветренной комнате было душно, и к тому же он так устал – словом, Симон не мог написать ни строчки. Ему захотелось есть. Он встал, принес сухой бисквит, пахнувший мылом, надкусил его и снова присел к столу. С минуту он молча глядел на бумагу, тщетно стараясь придумать первую фразу. Слова сопротивлялись, ускользали. А ведь только что все было так ясно... «Заметки, простые заметки», – думал он, но и это не помогало, дело не двигалось...

Жена громко напомнила ему, что пора спать.

– Уехала твоя мамаша? – спросила она сонным голосом.

– Да-да, вполне благополучно.

Наконец он решил: «Завтра воскресенье, с утра у меня будет достаточно времени».

Но так как отныне Симон уже не отделял историю своей жизни от истории литературы, он решил сохранить для потомства драгоценный документ и старательно вывел чернилами в блокноте следующую фразу: «Нынче вечером я закрыл глаза Жану де Ла Моннери». Под этими словами он поставил дату.

За отсутствием лучшего Симон уже заранее придумывал плоские фразы, фабриковал полуправду.

Наконец он лег в постель и постарался устроиться с краю, на холодной простыне, подальше от спящей жены. Он потушил лампу над изголовьем.

Положив на ночной столик очки, Лашом закрыл глаза и вытянулся; неподвижно лежа на спине с запрокинутой головою, он пытался улечься так, как лежал на смертном одре покойник. Симон силился взглянуть на себя со стороны и старался изобразить на своем широком лице то самое презрительное выражение, какое было у мертвого старика с длинным профилем; и если бы не жаркое дыхание жены, лежавшей в нескольких сантиметрах от него, Симон, пожалуй, достиг бы поставленной цели.

## Глава вторая

### Похороны

#### 1

В глубине сада, опустошенного зимними холодами, где над оградой свешивались и выглядывали на улицу голые ветви, приютился простой белый двухэтажный дом.

Мари Элен Этерлен приветливо встретила Лашома.

– Да, да, я уже все знаю... Эмиль Лартуа был так любезен, так внимателен и добр, он мне позвонил и предупредил о вашем визите. И потом, наш дорогой, незабвенный Жан часто говорил о вас, и всегда с большой симпатией... Благодарю, что вы навестили меня.

Она была уже немолода, но Симон затруднился бы определить ее возраст. Вокруг головы у нее была уложена коса пепельного цвета. Юбка серого платья длинна не по моде; отделка корсажа – причудливые рюши из тюля и кружев – подчеркивает стройность белой шеи. Глаза заплаканы, лоб ясный, без единой морщинки, но кожа на лице, еще гладкая и покрытая легким пушком, уже начинает увядать.

Мари Элен Этерлен взяла у Симона листок, прочла его, поднесла к губам, затем закрыла глаза руками и с минуту не отнимала их от лица.

Убранство комнат представляло собой резкий контраст скромному внешнему виду дома. Все здесь ослепительно сверкало; зеркала, позолота, разноцветные витражи, резная мебель, вделанные в стены застекленные шкафы, откуда вырывались игравшие всеми цветами радуги лучи, – все напоминало сказочный испанский или венецианский замок. Казалось, гостиная целиком из стекла; страшно было пошевелиться, чудилось, что достаточно кашлянуть – и все разлетится вдребезги!

– Если бы жена его не была такой злобной, как бы мы были счастливы! – проговорила госпожа Этерлен.

Симон молчал, вся его поза выражала скорбь и внимание.

– Меня даже не допускали к Жану, когда он болел, – продолжала она. – Приходилось узнавать о его здоровье по телефону. Кстати, племянница всецело на стороне тетки. Эти ужасные мегеры терзали Жана до самой смерти.

Все это она произнесла тихим, мягким, неземным голосом; возвышенная душа, по-видимому, не позволяла ей даже возмущаться людской злобой.

Симон не посмел вывести ее из заблуждения, не посмел рассказать, что Жан де Ла Моннери называл свою племянницу «мой ангел» и если перед смертью и чувствовал себя несчастным, то лишь потому, что ему предстояло расстаться с жизнью.

– А ведь он был такой добрый, такой чудесный человек! – продолжала госпожа Этерлен. – Каждый день приезжал сюда, каждый день... Даже во время войны, когда на город сбрасывали бомбы, я слышала, как на улице останавливался автомобиль... То был Жан. Он проделывал далекий путь зачастую лишь для того, чтобы узнать о моем здоровье, убедиться, что мне не страшно... Иногда он приезжал буквально на несколько минут... И всегда он садился в это самое кресло, в котором вы сейчас сидите...

Симон невольно с осторожностью провел рукой по хрупкому подлокотнику кресла.

– Не могу себе представить, что он уже никогда больше не войдет сюда, – снова заговорила госпожа Этерлен, – не появится на пороге, не поправит монокль, не подойдет к своему излюбленному месту... Через несколько месяцев исполнилось бы ровно восемь лет...

Она снова закрыла глаза ладонью, а другой рукой достала из-под диванной подушки батистовый платочек и утерла слезы.

– Простите меня, – прошептала она.

Тем временем Симон подсчитывал в уме: «От семидесяти шести отнять восемь... Стало быть, все началось, когда ему было шестьдесят восемь лет...»

Внезапно она подняла голову и пристально посмотрела ему прямо в лицо; Симон отметил, что ее фиалковые глаза совсем маленькие. Но боже, сколько в них было горя и тоски!

– Вы, конечно, знаете, господин Лашом, что я все бросила ради него... мужа, детей – все! Друзья отвернулись от меня. У меня ничего не осталось. Но вы, тот, кто постоянно был возле него, вы, кому были открыты глубины его мысли, я знаю, вы поймете и даже оправдаете меня... Когда женщина встречает такого человека, как Жан, человека, который господствует над своей эпохой, когда на долю этой женщины выпадает счастье привлечь его внимание, когда он просит у нее хоть немного радости, то она не имеет права... Это ее долг... Ничто больше в счет не идет... Я оставила дом в его вкусе... Мне хотелось, чтобы все здесь пришлось ему по душе... Каждую вещь мы выбирали вместе, Жану был дорог тут каждый предмет. Вот этот столик мы приобрели во Флоренции во время нашего путешествия. Вы, верно, обратили внимание на веера – вон в той витрине, что позади вас? Он обожал веера, он говорил: «Для меня веер – эмблема жизни».

Она встала.

– Я хочу показать вам спальню, – сказала она и легким шагом пошла впереди него.

В эту минуту она выглядела совсем молодой. Поражала ее необыкновенно тонкая талия.

Они вошли в комнату, обтянутую бледно-голубым шелком, по которому были разбросаны золотые цветы. С комода смотрел бюст Жана де Ла Моннери, на сей раз из белого гипса и без царапины на носу.

Кресла были обиты шелком такого же рисунка, как и стены, свет струился из двух небольших алебастровых ламп.

– Жан говорил, что обстановка здесь располагает к работе, – журчал голос госпожи Этерлен. – Нередко после обеда он отодвигал щеточки и флаконы на моем туалетном столике, присаживался и писал.

Она кружила по комнате, поглаживая то спинку кресла, то полированную поверхность стола, то позолоченную птицу на камине. Приблизившись к кровати, она застыла возле нее.

– До самого конца он был чудесным любовником, – произнесла она без тени стыда. – Это тоже одно из счастливых свойств гения.

Симон смущенно перевел взгляд на гипсовое изваяние.

– Да, – промолвила госпожа Этерлен, – он любил, чтобы в комнате, где он жил, стоял его бюст.

Невольно Симон представил себе эту женщину в постели и рядом с ней знаменитого старца, предающегося любви перед собственным изображением. А позавчера он видел этого старца мертвым...

Он вздрогнул и направился к двери.

– И вот теперь, – продолжала госпожа Этерлен, спускаясь по лестнице и останавливаясь на одной из ступенек, – я всего лишилась. Никто больше не придет навестить меня. Мне остается лишь одно: жить воспоминаниями и ради воспоминаний. На мою долю выпало восемь лет счастья. Это так много!.. А теперь все кончилось. Отныне я замкну в четырех стенах и стану вести жизнь пожилой женщины... Как вы думаете, сколько мне лет?

Смущение Симона возрастало. Он подумал: «Да лет пятьдесят пять, не меньше». Опасаясь, что в его словах слишком явственно прозвучит желание польстить, он все же решил сбросить лет десять.

– Право, не знаю, – пробормотал он, – сорок пять – сорок шесть...



– Вы великодушнее других. Обычно мне дают пятьдесят. А на самом деле мне сорок три.

По-видимому, госпожа Этерлен не рассердилась, она проводила гостя до самой прихожей и протянула ему для поцелуя руку с бледно-розовыми ноготками; Симон не привык целовать руку дамам и очень неловко справился с делом, подтянув ее кисть к губам, вместо того чтобы почтительно склониться к ней.

Впервые за все время их разговора на устах госпожи Этерлен появилась легкая улыбка.

– Вы совсем такой, каким вас описывал Жан, – сказала она, – чувствительный, тонкий...

Между тем, находясь в ее доме, Симон произнес всего несколько фраз, причем под конец допустил огромную бестактность.

– Людей, с которыми можно так вот запросто беседовать, не часто встретишь, – добавила она, машинально перебирая пестрые стеклянные палочки в высокой вазе. – Так мы разговаривали с Жаном... Навестите меня, когда вам захочется. Мы будем говорить о нем, я покажу вам его неизданные стихи, они еще до сих пор никому не известны. Приезжайте, когда хотите, я не выхожу из дома.

И, зябко поеживаясь от холодного воздуха, проникавшего из сада, она закрыла дверь.

## 2

Возвратившись к себе, Симон Лашом увидел два письма, полученные по пневматической почте.

Первое было от главного редактора газеты «Эко дю матен». Оно гласило:

*Многоуважаемый господин Лашом!*

*Профессор Лартуа рекомендовал нам обратиться к Вам как к человеку, который лучше всякого другого сумеет рассказать читателям о последних минутах жизни нашего выдающегося сотрудника г-на Жана де Ла Моннери. Я буду Вам весьма обязан, если Вы пришлете статью в сто пятьдесят строк не позднее полуночи. Надеюсь, Вы найдете достаточным гонорар в двести франков.*

Второе письмо прислал сам профессор Лартуа.

*Дорогой господин Лашом, – писал Лартуа, – газета «Эко дю матен», владелец которой, барон Нозль Шудлер, принадлежит к числу моих лучших друзей и доводится, как Вам известно, свекром дочери Жана де Ла Моннери, обратилась ко мне с просьбой срочно написать статью о кончине нашего великого друга. Опасаюсь, что моя статья прозвучала бы слишком профессионально; мне кажется, Вы, как литератор, и притом литератор талантливый, несравненно лучше справитесь с этой задачей; уверен, что в Вашей юной памяти более точно запечатлелись предсмертные слова поэта, которые так взволновали нас обоих. Вот почему я разрешил себе назвать редактору Ваше имя и надеюсь, что появление такой статьи будет бесполезно и для Вас. Примите и прочее...*

Читая эти письма, Симон преисполнился гордости. Значит, разговор, который Лартуа завел с ним два дня назад, не был простой данью вежливости. Знаменитый врач счел его достойным написать столь важную статью, это его, Симона, он назвал «литератором, и притом литератором талантливым». Хотя Симон еще ничего не опубликовал и, можно сказать, еще ничего не написал, если не считать диссертации и нескольких университетских работ, столь лестный отзыв привел его в восторг.

Овладевшее им в вечер смерти поэта предчувствие, что он, Симон Лашом, находится на пороге нового этапа своей карьеры, начало воплощаться в жизнь. Одна из трех крупнейших газет просила его о сотрудничестве. Эта статья принесет ему известность... Он уже придумал заглавие.

Наспех пообедав, он попросил жену:

– Свари мне кофе, только покрепче, – и принялся за работу.

Прежде всего он скрупулезно подсчитал количество знаков в газетной строке, чтобы определить, сколько ему надо написать страниц от руки. Шесть страниц! Затем старательно вывел придуманный им великолепный заголовок: «Чему учит нас его кончина». Однако дальше дело не пошло.

Битых полчаса он сидел, впериw взор в чистый лист бумаги, покусывая трубку, то и дело выколачивая ее и опять набивая свежим табаком, протирая очки большими пальцами. Тщетно! Слова бежали от него. Он не мог выразить ни одной мысли. Едва мелькнув, они исчезали, уходили в какие-то зыбучие пески. Кончина... учит... Что это, собственно, значит?.. Обратимся к происхождению слова «поэт». Это тот, кто творит, созидает. Поэт собственной кончины? Какая нелепость! О невыразительность слов, напоминающих маленькие, причудливые, беспорядочно разбросанные, бесполезные камешки, которые не знаешь как употребить! Почему во

вступлении к рассказу о смерти этого человека надо сначала определить, что такое поэзия? И Симон сознавал, что никто ничего не поймет в его статье, если он сперва не объяснит, что же такое поэзия.

И снова фразы, возникшие в его голове, когда он шел в ту ночь по пустынному Парижу, ускользали от него.

А часы уже показывали половину десятого. Он принялся беспокойно шагать по своей маленькой квартирке.

– Скоро ли его наконец похоронят, твоего Ла Моннери? – заметила супруга Симона. – Быть может, тогда опять воцарится спокойствие. Все эти старики и мертвецы доведут тебя до неврастения.

– Ивонна! – завопил Симон. – Если ты произнесешь еще хоть слово, я позвоню в газету и откажусь от статьи. И в этом будешь повинна ты. Если хочешь знать, это ты не даешь мне сосредоточиться, я все время ощущаю твое присутствие. Ты обладаешь удивительным свойством – гасить вдохновение, убивать мысль, убивать все!

Ивонна Лашом исподлобья метнула на мужа презрительный взгляд и снова принялась выдергивать нитки из розовой шелковой блузки, делая на ней мережку.

Дав выход своему гневу, Симон почувствовал некоторое облегчение; он опять уселся за стол, набросал начало статьи, разорвал листок и начал сызнова. Когда ему не удавалось выразить мысль, он прерывал нить общих рассуждений и начинал описывать наиболее колоритные подробности последних часов жизни великого человека. «Прославленному медику, находившемуся у его постели, – писал Симон, – он сказал: «Вы по праву займете в Академии мое освободившееся кресло»».

«Это доставит удовольствие профессору Лартуа», – подумал он.

Только теперь Лашом понял то, что любой более опытный или хотя бы более скромный человек понял бы сразу.

В десять минут первого Симон был в редакции газеты. Он очень боялся опоздать.

Написанные им шесть страниц казались ему предательством по отношению к Жану де Ла Моннери, предательством по отношению к самому себе, жалким угодничеством, свидетельством полного внутреннего бессилия. Никогда еще из-под его пера на выходило ничего более беспомощного, думал он и уже готовился к унижительному отказу редактора.

«О, мне надолго запомнится моя первая статья!» – прошептал Симон.

Теперь будущее рисовалось ему в мрачном свете.

## 3

Непомерно длинными и кривыми, пожелтевшими от табака пальцами Люсьен Моблан держал развернутый листок бумаги, обведенный траурной каймой; текст был напечатан необычным косым шрифтом.

Он медленно и внимательно вчитывался в слова извещения о смерти, изучал его, смаковал: «...маркиз Фовель де Ла Моннери, почетный командир эскадрона, кавалер Мальтийского ордена, кавалер ордена Почетного легиона, награжденный также медалью за войну 1870–1871 годов; граф Жерар Фовель де Ла Моннери, посол, полномочный министр, кавалер ордена Почетного легиона, кавалер ордена Георга и Михаила, кавалер ордена Леопольда, кавалер русского ордена Св. Анны; бригадный генерал граф Робер Фовель де Ла Моннери, командор ордена Почетного легиона, кавалер Военного креста, командор ордена Черной звезды Бенена, командор ордена Нихам-Ифтикар; господин Люсьен Моблан – братья усопшего...»

Он остановился, дойдя до своего имени, и осклабился. Люсьен Моблан... Только и всего! Ни титула, ни дворянской частицы перед именем, ни перечня орденов. Да, у него не было ни единого ордена, и тем не менее они вынуждены упоминать его имя. Что ни говори, а он все-таки брат, точнее, сводный брат, чужак в этой аристократической семье, острый шип, который вот уже более пятидесяти лет вонзается им в пятую. Он снова осклабился и с наслаждением поскреб себе спину. Как замечательно поступила его мать, выйдя вторым браком за его отца – Моблана, которого он, Люсьен, даже не знал, но который успел сыграть злую шутку с этими знатными господами и завещать ему, своему сыну, голубые глаза навывкате и огромное состояние.

Люсьен Моблан братьев ни во что не ставил: ведь он был богаче всех их, вместе взятых.

Вытянув ноги к камину, он пробежал глазами строки извещения о смерти, набранного высоким и узким шрифтом. Сначала были перечислены все близкие и дальние родственники, и лишь затем, почти в самом конце, значилось только одно имя: «Госпожа Полан»; последняя строка гласила: «Госпожа Амели Легер, мадемуазель Луиза Блондо, господин Поль Ренода – верные слуги усопшего».

«Она и сюда умудрилась влезть, старая ящерица», – подумал Люсьен Моблан.

Вот уже в седьмой раз в извещениях о смерти фигурировало имя госпожи Полан. Ей удалось убедить членов семьи Ла Моннери, что старинный аристократический обычай требует упоминать в подобных случаях также и слуг; она добивалась этого только для того, чтобы ее собственное имя фигурировало среди имен дальних родственников и прислуги. Теперь никому не приходило в голову нарушать заведенный ею обычай, и каждый раз госпожа Полан занимала самолично предпоследнюю строку похоронного извещения.

«Во всяком случае, на моих похоронах этой ехидны не будет, – решил Люсьен Моблан. – Нужно не мешкая принять меры».

Он достал из секретера стопку печатных листков с траурной рамкой: то были извещения о его собственных похоронах. В них было указано все, за исключением возраста умершего и даты погребения. Упоминалась даже церковь, где будет происходить отпевание. Внизу напечатано было мелким шрифтом: «Можно приносить цветы, покойный их очень любил».

Список родственников был еще длиннее, чем в извещении о смерти Жана де Ла Моннери: к именам сиятельных аристократов, дворян, гордившихся своей родовитостью, баронов империи и командоров различных орденов, к именам людей, представлявших семью его матери, Люсьен Моблан с особым удовольствием присоединил также длинный список имен никому не известных Мобланов – Леруа-Мобланов и Мобланов-Ружье, соседство с которыми не могло порадовать его именитых родственников.

– Ла Моннери перечисляют всех своих родичей до восемнадцатого колена, потому что это доставляет им удовольствие, – пробормотал Люсьен, – я же помещаю своих, чтобы позлить моих знатных братьев.

В ящике лежала также стопка конвертов.

Люсьен Моблан взял их и начал тасовать, словно игрок, тасующий карты. Среди имен его родственников и знакомых по клубу и званым обедам мелькали такие имена, как «Господин Шарль, официант «Неаполитанского кафе»», «Мадемуазель Нинетта, гардеробщица у «Табарена»», «Господин Армандо, парикмахер», – имена людей, которых можно встретить за кулисами театра, в подвальных помещениях ресторанов и домов свиданий.

«До чего забавно! – подумал он. – Все эти рассыльные и официанты будут соседствовать с теми, другими».

Внезапно в его руках оказался конверт с надписью «Улица Вавен, 73, мадемуазель Анни Фере, исполнительнице лирических песен».

– Она позволила себе подшутить надо мной, эта негодница, – пробормотал он. И, скомкав конверт, швырнул его в корзину. – Нет, ей не место на моих похоронах!..

А теперь за работу!

Каждый раз, когда умирал кто-нибудь из родственников, Люсьен Моблан, по его выражению, приводил в порядок дела, то есть аккуратно выбрасывал имя усопшего из текста извещения о своих собственных похоронах. На каждом печатном листке было уже несколько старательно вычеркнутых строк, причем тонкие чернильные линии позволяли прочесть зачеркнутое.

Люсьен пересчитал имена покойников.

После того как он исключит сейчас имя своего сводного брата Жана де Ла Моннери, их число достигнет девяти. Великолепная цифра! Нынче же вечером он в клубе сядет к столу, за которым играют в девятку, и поставит на девятую карту.

«Приведение дел в порядок» заняло немало времени. Он вычеркивал имя Жана на десяти извещениях подряд и, пока сохли чернила, отпивал глоток коньяку, покусывал своими большими желтыми зубами кончик сигареты, а затем опять принимался за работу.

Когда все было кончено, он подошел к туалетному столику, опустил в жилетный карман три маленьких пакетика из тонкой туалетной бумаги, содержимое которых предварительно с удовольствием ощущал, провел щеткой по редким волосам, попрыскался одеколоном, надел на шею белый шарф и погляделся в зеркало.

Оттуда на него смотрел человек с уродливым черепом, носившим неизгладимые следы акушерских щипцов, наложенных пятьдесят семь лет назад: над висками, едва прикрытыми белым пухом, выступали две громадные шишки, бледно-голубые глаза навывкате были полуприкрыты тяжелыми веками, лошадиная челюсть выдавалась вперед. И все-таки этого человека он предпочитал всем Ла Моннери с их пресловутой красотой и напыщенным, высокомерным видом! Прежде всего он богаче, чем они, а кроме того, моложе. Да, Люсьен Моблан не замечал у себя пока ни малейших признаков старости.

Выходя из дому, он решил не ездить в клуб.

«Не принято посещать клуб накануне похорон брата, пусть даже сводного. Это неприлично. В дни траура ездят в такие места, где не рискуют встретить знакомых».

И он назвал шоферу адрес игорного дома.

## 4

Около полуночи Моблан появился в «Карнавале», покусывая, как обычно, сигарету; котелок его был низко надвинут на шишковатый лоб. Чувствовалось, что он сильно не в духе. Все подобострастные приветствия служащих: «Добрый вечер, господин Моблан, добрый вечер, господин Люсьен, добрый вечер, господин Люлю» – остались без ответа. Когда он показался на пороге зала, выдержанного в голубоватых тонах, дирижер, изобразив на лице беспредельную радость, поднял смычок, и музыканты заиграли вальс. Но все было напрасно: безмолвный и неприступный, Люсьен Моблан направился к столику в сопровождении раболепно изгибавшегося метрдотеля.

Люсьен только что проиграл двадцать две тысячи франков. На эти деньги можно приобрести автомобиль... Во всем виноват его сводный брат... Эти Ла Моннери даже после своей смерти ухитряются досаждают ему.

– Нынче ему не повезло, сразу видно, – проговорила Анни Фере, певичка из «Карнавала».

Это была довольно упитанная девица с черными блестящими волосами, сильно накрашенным вульгарным лицом и густо насурьмленными бровями.

Она сидела за столиком возле самого оркестра в компании с рыжеволосой худенькой девушкой лет двадцати, с тонкими руками, с жадными и вместе с тем печальными глазами.

– Но мы все-таки попробуем, – продолжала Анни Фере. – Не могу же я оставить тебя в беде. Правда, он в дурном настроении, за успех не ручаюсь. Надо прежде всего убедиться, что он никого не ждет, а потом – пусть малость поскучает.

Перед Люсьеном Мобланом поставили ведро с шампанским, и три официанта суетились, наперебой стараясь открыть одну бутылку и наполнить один бокал.

– Ну и страшилище! – воскликнула рыжеволосая девушка, взглянув на Моблана.

– Знаешь, милочка, тебе надо твердо решить, чего ты хочешь, – ответила Анни Фере. – В жизни, видишь ли, красивые и молодые редко бывают богатыми. Ты сама убедишься. Впрочем, это в какой-то степени справедливо.

Последние слова она произнесла назидательным тоном, словно изрекла философскую истину, и погрузилась в раздумье.

– Анни, – жалобно позвала шепотом рыженькая.

– Что тебе?

– Я голодна... Нельзя ли чего-нибудь поесть?..

– Ну конечно, деточка. Почему ты сразу не сказала, что не обедала? Чего тебе хочется?

– Сосисок с горчицей, – задыхаясь, ответила рыженькая, глаза ее расширились и наполнились слезами.

Анни Фере подозвала официанта и заказала порцию сосисок. Заметив, что тот колеблется, певичка прибавила:

– Да-да, ступайте, это не за счет заведения. Я сама уплачу.

Наклонившись к подруге, Анни тихо сказала:

– До чего подлы здесь лакеи!

Через несколько минут официант возвратился с дымящимся блюдом. Рыженькая схватила рукой сосиску, окунула ее в горчицу и откусила большой кусок.

– Ешь прилично, – шепнула певичка. – Он смотрит на нас. Уже в третий раз. Только не подавай виду, что замечаешь.

С минуту она глядела на подружку, которая вооружилась ножом и вилкой и старательно, в полном молчании, поглощала одну сосиску за другой. По мере того как девушка насыщалась, на ее худом, остреньком и веснушчатом личике с наруганными скулами появлялись живые краски.

Оркестр исполнял какую-то оглушительную американскую песенку.

– Сказать по правде, сердце у меня отзывчивое, – проговорила Анни Фере. – Когда я вижу, что такая славная крошка голодает, у меня душа болит... А знаешь, ведь ты прехорошенькая.

Она поднялась со стула.

– Ладно, теперь самое время идти. Ты поняла, что я тебе сказала? Смотри не оплошай.

Подружка, не переставая жевать, только тряхнула пылающей гривой.

– Не забудь накрасить губы, – напомнила Анни.

Покачивая крутыми бедрами так, что ее длинное черное атласное платье сразу же зашуршало, она пересекла круг, где танцевали несколько пар.

– Итак, милый Люлю, ты даже не здороваешься? – воскликнула она, останавливаясь возле столика, за которым в одиночестве сидел Моблан, уставившись на ведро с шампанским.

– Я вас не знаю, мадемуазель, и не понимаю, что вам от меня угодно, – ответил он, окидывая рассеянным взглядом зал.

У него был низкий, тягучий и хриплый голос. Он говорил недовольным тоном, почти не раскрывая рта, в котором торчала сигарета.

– О Люлю! Неужели ты сердись на меня за то... за то, что произошло тогда!

– Вы изволили посмеяться надо мной, мадемуазель, я вас больше не желаю знать. Я считал вас благоразумной девицей, а вы, оказывается, не лучше других! К тому же я твердо решил больше не иметь дела с женщинами вашего круга.

– Каждый может совершить неловкость... Нельзя же из-за этого ссориться, – сказала певичка.

И она так низко наклонилась над столом, что Моблан без труда мог заглянуть в глубокий вырез корсажа. Выпуклые голубые глаза уставились на ее грудь, затем Люсьен с деланным равнодушием отвел взгляд в сторону.

– Если хотите знать, я нынче утром даже вычеркнул ваше имя из списка тех, кто будет приглашен на мои похороны. Вот вам! – заявил он.

Потом откинулся на спинку стула, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Анни Фере, усматривая бог весть какую связь между приглашением на похороны и завещанием, воскликнула:

– Ах! Нет, Люлю, ты этого не сделаешь! Ты и вправду хочешь меня огорчить? Знаешь, ты ведешь себя не очень-то шикарно, нет, нет, совсем не шикарно! А впрочем, какое это имеет значение? Ты еще всех нас переживешь...

Лесть сыграла свою роль. Все же Моблан проворчал:

– Люди, которые со мной дурно обошлись, для меня попросту больше не существуют, да, не существуют...

Но взгляд выпуклых голубых глаз снова проник за корсаж. Певичка едва заметно повела плечами, и Моблан отчетливо увидел, что грудь ее ничем не стянута.

– Ну ладно, присядь, выпей стаканчик, – сказал он, указывая на стул.

– О, это уже куда любезнее! Узнаю моего Люлю.

Анни бросилась к нему на шею и вымазала губной помадой шишковатый лоб.

– Хватит, хватит, – проворчал он, – еще обожжешься. Мы друзья – и только...

Он смял наполовину выкуренную сигарету, мокрый кончик которой был весь изжеван, его крупные желтые зубы привычно стиснули новую сигарету, затем он спросил:

– Что это за малютка с тобой сидела?

– Там? А, это Сильвена Дюаль, прелестная девочка.

– Это ее настоящее имя?

– Нет, сценическое. Знаешь, она из хорошей семьи! Папаша, конечно, противился тому, чтобы она шла на сцену, и ей пришлось покинуть дом. Это вполне естественно, в ее годы я сама была такой, в душе у нее пылает священный огонь.

И Анни принялась рассказывать трогательную, но избитую историю о родительском гневе, о благородной бедности, об истопленной комнате, где приходится учить роли, и о доброй подруге, которая знает, как тяжела подобная жизнь, потому что сама прошла через эти испытания, и всеми силами хочет помочь бедной девочке.

– Мила, очень мила! – бормотал Люсьен Моблан, покачивая головой. – И... талантлива?

– Необыкновенно. Пока еще только дебютирует. Но, поверь, она живет лишь ради искусства.

– Хорошенькая, воспитанная, талантливая, смелая, – перечислял Моблан. – Стало быть, по-твоему, ей следует помочь? А? Надеюсь, она благоразумна?

Анни Фере, не смущаясь, выдержала его вопрошающий взгляд.

– О, еще как благоразумна! Даже слишком, – ответила она. – По-моему, у нее никого нет. Это сама чистота, она просто дикарка.

– Отлично, отлично, – пробормотал Моблан. – Так оно и должно быть.

Он поманил пальцем метрдотеля и глазами указал на столик, за которым сидела Сильвена Дюаль. После короткого разговора метрдотель возвратился и объявил, что «барышня ответила отказом».

– Я ж тебе говорила! – торжествующе воскликнула Анни. – Постой-ка, я сама с ней потолкую, а то она ни за что не подойдет.



## 5

Не дожидаясь исхода вторых переговоров, метрдотель поставил в ведро со льдом новую бутылку шампанского.

Рыжеволосая девушка подошла со сдержанным, отчужденным и холодным видом. Усевшись между Анни и Мобланом, она равнодушно слушала плоские рассуждения Люсьена о театре и едва касалась губами бокала с шампанским. Вскоре Сильвена почувствовала, как накрахмаленная манжетка скользит по ее бедру, затем длинные пальцы сжали ей колено. Она отодвинулась. Моблан с довольным видом взглянул на Анни и, снова протянув руку, коснулся платья Сильвены.

– О, какая худышка, какая худышка! – сказал он притворно отеческим тоном. – Надо кушать, побольше кушать!

Девушка бросила на него сердитый взгляд, и Моблан принял это за новое проявление стыдливости.

– Отлично, отлично! Девушке так и подобает вести себя! Не стесняйтесь, выпейте еще.

Его глаза блестели. Близкое соседство двух женщин и шампанское (а он уже выпил больше бутылки) вызвали у него чрезвычайно приятное чувство. Люди, сидевшие за соседними столиками, время от времени поглядывали на него сквозь пелену табачного дыма и шептались: «Вы только полюбуйтесь на этого красавчика!» Но Люлю Моблан читал в их взглядах одобрение и был весьма доволен собой.

Скрипач, который приветствовал Люсьена, когда тот вошел в зал, приблизился к столику, держа в одной руке смычок, а в другой скрипку; на его плече лежал носовой платок.

– О, какая прелестная, прелестная пара, просто чудо! – восторженно вскричал он, описывая смычком круг над головами Люлю Моблана и юной Сильвены Дюаль.

Это был старый венгр с пухлым, гладко выбритым лицом; его круглое брюшко выпирало из жилета. Для своей комплекции он был удивительно подвижен.

Моблан довольно закудаhtал: фиглярство скрипача было для него привычным, но каждый раз производило эффект.

– Какую вещь вы хотели бы послушать, мадемуазель? – спросил скрипач, изогнувшись в поклоне.

Оробевшая Сильвена не знала, что ответить.

– В таком случае – венгерский вальс, специально для вас! – воскликнул скрипач.

И подал знак оркестру.

Люстры погасли, зал погрузился в синий полумрак. Из темноты выступал лишь силуэт толстого венгра; выхваченный конусообразным лучом прожектора, он напоминал какое-то подводное чудовище, озаренное светом из иллюминатора корабля. Прямые, зачесанные назад волосы падали ему на шею. Официанты неслышно приблизились к нему и молча стояли рядом с видом сообщников. Посетители, сидевшие за соседними столиками, невольно смолкли. Казалось, все присутствующие вступили в какой-то сговор.

После яростного вступления оркестр умолк, и теперь венгр играл один: его смычок порхал по струнам и щебетал, как птица.

Поза скрипача изображала вдохновение. Однако он, как сводник, поглядывал на Люлю и рыжую девушку; у него была усталая улыбка человека, который некогда мечтал стать большим музыкантом, но вот уже сорок лет, презирая себя и других, раболепно пикирует на скрипке, увеселяя пары, соединенные деньгами; человека, который возвращается поздно ночью в свою мансарду и разогревает себе ужин на спиртовке; человека, который испытывает отеческую жалость к юной девушке и вместе с тем подлое чувство удовольствия от того, что он помогает старику развращать ее.

Сильвена Дюаль шепнула Анни Фере:

– А мне нравится этот скрипач.

Анни сердито ущипнула ее.

Тем временем Люсьен Моблан норовил прижаться своим уродливым лбом к острому плечу девушки; касаясь губами ее пылающей гривы, он шептал:

– Я повезу вас к цыганам, к настоящим цыганам, повезу, куда вы только захотите.

В зале вспыхнул свет. Послышались жидкие аплодисменты, скрипач вновь изогнулся в поклоне и не поднимал головы до тех пор, пока Моблан не сунул ему в карман стофранковую кредитку.

Сильвена почувствовала, что голод опять терзает ее.

Моблан слегка сжал ей руку.

– Видите ли, милая крошка, – проговорил он, – очень важно хорошо начать свою жизнь. Это главное. Хорошо начать, понимаете? Я начал плохо.

Он немного опьянел и проникся жалостью к самому себе.

– Да-да. Я рано женился, – продолжал он. – Совсем молодым. Моя жена... Можно ей рассказать, Анни?

– Ну конечно, конечно можно. Сильвена благоразумна, но ведь она не дурочка.

– Так вот! Моя жена была бесплодна... Совершенно бесплодна. И она вздумала объявить, будто я импотент. Наш брак был расторгнут. А Шудлер...

Голос Люлю неожиданно окреп.

– ...этот мерзавец Ноэль Шудлер затем женился на ней. И также стал утверждать, будто я импотент. А все дело в том, что она впоследствии подверглась операции, потому что прежде была совершенно бесплодна.

– До чего все-таки люди бывают злы, – проговорила Анни проникновенным тоном.

– Вот и ославили меня на всю жизнь.

– Послушай, Люлю, не говори так, – вмешалась Анни. – Уж я-то во всяком случае могу опровергнуть эту ложь.

Он благодарно улыбнулся ей и заявил:

– Знаешь, Анни, мне очень нравится твоя подружка.

Затем встал и с лукавой усмешкой проговорил:

– Пойду вымою руки.

Не успел он отойти от стола, как метрдотель приказал убрать недопитую бутылку и принести новую скатерть, поставить пустые пепельницы.

– Ну как? – спросила Анни Фере.

– До чего же омерзительный старик твой Люлю, – ответила Сильвена с удрученным видом. – Могу только еще раз повторить: омерзительный!

– Не скрою, мне он тоже был противен, – сказала Анни. – Он всем нам противен. Но когда сидишь на мели, привередничать не приходится. К тому же в этом случае есть одно преимущество: Люлю никогда не забирается выше колен... ну разве только изредка.

Рыжеволосая девушка бросила на подругу недоверчивый взгляд, ей трудно было поверить, что накрахмаленная манжетка, скользившая по ее бедру, и жаркое дыхание у ее лица – всего лишь притворство.

– Сколько ему лет? – спросила она.

– Шестьдесят или около того, но, сама понимаешь, говорить надо, что пятьдесят.

– Вот уж не подумала бы! – вырвалось у Сильвены. – Ничем не утруждать себя и так постареть! А я-то воображала...

– Замолчи!

Моблан приближался к столу; он приободрился, повеселел, глаза у него были не такие мутные, как прежде.

– Значит, решено, – сказал он, усаживаясь. – Я устрою вашу судьбу... Сильвена Дюаль. Я создам вам имя, крошка Дюаль. Вы талантливы, и о вас заговорят. Дайте-ка мне ваш адрес. Я заеду навестить вас как-нибудь, утром... на правах друга.

Анни многозначительно посмотрела на Сильвену: все шло хорошо.

– Но только на правах друга, – промолвила девушка и, входя в роль, погрозила Люсьену пальцем.

– Ну конечно, на правах старого друга. Черкните ваш адресок, – настойчиво повторил он, протягивая визитную карточку.

Пока Сильвена, склонившись над столиком, писала, он с улыбкой глядел на нее.

– Да, я создам вам имя, – повторил он.

Затем засунул два пальца в жилетный карман и извлек оттуда маленький пакетик из папиросной бумаги.

– Что это? – удивилась Сильвена.

Ей неудержимо хотелось рассмеяться.

Моблан развернул бумагу и положил ее на скатерть. Нежно замерцали две великолепные жемчужины.

– Ведь я игрок, – пояснил он. – И ставки в моей игре все время разные: вчера – лошади, сегодня – хлопок, завтра – драгоценные камни и жемчуг... Ставлю я и на красоток.

Взяв кончиками длинных пальцев одну из жемчужин, он отвел от щеки Сильвены рыжие кудряшки и приложил жемчужину к мочке маленького ушка, потом сказал:

– Вы не находите, что она вам к лицу? Посмотритесь в зеркало. Ну как? Что скажете?

Кровь прилила к щекам Сильвены Дюаль. Лицо ее запылало. Она больше не чувствовала мучений голода. Глаза расширились, нос наморщился. Забыв о своей роли, она пролепетала:

– Нет, нет, господин Моблан, не нужно, вы с ума сошли! С какой стати?.. Я никогда не посмею...

Он смерил ее взглядом и спокойно произнес:

– Отлично. Раз не хотите, тем хуже для вас. Я думал, вы любите жемчуг. Выходит, я ошибся. Человек, счет!

Ей так хотелось поправить дело, крикнуть, что, конечно же, она мечтает о таких жемчужинах. Ах, какие чудесные жемчужины! Она не знала, что надо было сразу согласиться, она вовсе не хотела его рассердить... Но было уже поздно. Моблан аккуратно свернул бумажный пакетик и вновь опустил жемчужины в жилетный карман, глядя на Сильвену с жестокой насмешкой, наслаждаясь огорчением, которое без труда можно было прочесть на юном веснушчатом личике.

– Как она еще молода! – сказал он Анни, которая с трудом сдерживала ярость.

Моблан подписал счет золотым карандашиком и швырнул несколько стофранковых кредиток обступившим его лакеям.

– Я навещу вас на этих днях, деточка, будьте благоразумны, – обронил он, поднимаясь.

И удалился с величественной улыбкой на дряблом лице. Подобострастные официанты провожали его до самых дверей, со всех сторон слышалось: «Доброй ночи, господин Люлю, доброй ночи, господин Люсьен, доброй ночи, господин Моблан».

– Ты думаешь, он и вправду обиделся? – спросила Сильвена Дюаль у подруги.

– Вовсе нет, – ответила Анни. – Но ты, скажу прямо, набитая дура. Надо было сразу же согласиться.

– Откуда мне знать? Я думала, что полагается из вежливости отказаться, что он будет настаивать. А потом, жемчужины-то какие! Ты заметила, какие огромные? Я просто растерялась, понять не могла, как это ему взбрело в голову.

На глазах у нее выступили слезы.

– Ну, плакать из-за этого не стоит, – сказала Анни. – Я ведь тебе говорила, он очень богат. Признаться, я и сама не ожидала, что ему вздумается при первом же знакомстве дарить тебе жемчуга. Значит, ты ему понравилась. Досадно только, если он решит, что ты из разряда недорогих любовниц. Смотри же, вперед маху не давай!

Скрипач подал знак Анни.

– Ах, мне снова надо петь! – с досадой сказала она. – А ты ступай домой. И води себя осторожно! Никого не принимай по утрам. Старики мало спят и встают спозаранку.

Она проводила подружку, продолжая напутствовать ее:

– Понимаешь, как дело доходит до денег, он настоящий садист: любит, когда их просят у него, унижаются и чтобы человек при этом испытывал мучительную неловкость... Если ты разбогатеешь, а я окончательно впаду в нищету, смотри не забудь обо мне.

Внезапно, уже в дверях, Анни судорожно стиснула плечи Сильвены, и та почувствовала на своем лице ее горячее и пряное дыхание...

– Знаешь, опротивели мне мужчины, – проговорила Анни низким и хриплым голосом. И она с такой силой прижалась своим накрашенным ртом к губам рыжеволосой девушки, что та пошатнулась.

Словно сквозь туман, до Сильвены донесся из глубины зала певучий голос:

– Венгерский вальс, специально для вас!

## 6

Через окно в комнату неожиданно заглянул луч восходящего солнца.

– Джон-Ноэль! Мэри-Анж! Can't you keep quiet!<sup>2</sup> – воскликнула мисс Мэйбл.

Она металась между двумя кроватями, поправляла подушки, старалась вновь укрыть детей и непрерывно повторяла:

– Aren't you ashamed of yourselves... on a day like this, too<sup>3</sup>.

Но Мари Анж и Жан Ноэль минуту назад обнаружили, что, когда шевелишь пальцами ног, на стене появляются забавные тени.

– Обезьянки, смотри, маленькие обезьянки! Они карабкаются к потолку! – закричал Жан Ноэль.

– Нет, щеночки, гляди, вон их ушки! Это маленькие собачки, – утверждала сестренка.

– Колбаски, колбаски! – завизжал Жан Ноэль, радуясь новой выдумке.

И малыши, словно по команде, начали кататься по одеялу, заливаясь неудержимым смехом, как будто их щекотали.

– Мэри-Анж! – возмутилась мисс Мэйбл. – Если вы не будете послушны, вас не возьмут на похороны дедушки.

Мари Анж сразу притихла: не время было навлекать на себя наказание. Ведь ей впервые предстояло, как взрослой, надеть черное платье и медленным, торжественным шагом войти под церковные своды, убранные огромными черными полотнищами с серебряной вышивкой. До сих пор Мари Анж еще ни разу не приходилось бывать в соборе, одетом в траур. Жан Ноэль также скорчил серьезную мину.

– Мисс Мэйбл, почему меня не берут на похороны дедушки? – спросил он.

– Say it in English<sup>4</sup>, – приказала мисс Мэйбл.

Каждый раз, когда гувернантка предвидела затруднительный разговор, она заставляла детей переходить на чужой для них язык.

– I want to go to grandpa's...<sup>5</sup> – сказал мальчуган.

– No, darling, you are not big enough yet<sup>6</sup>.

– Мне уже скоро пять...

– Say it in English.

– I am nearly five<sup>7</sup>, – повторил по-английски Жан Ноэль и захныкал.

– Now don't cry. You'll go next time<sup>8</sup>.

Но Жан Ноэль надул губы и продолжал хныкать, теперь уже из упрямства. Затем он переменял тактику. Воспользовавшись тем, что мисс Мэйбл повернулась к нему спиной, он вытянул шею и, передразнивая гувернантку, у которой зубы выдавались вперед, поджал губу. Затем снова задвигал розовыми пальчиками ног и, ухватив ступню обеими руками, умудрился на четверть засунуть ее в рот; проделывая все это, он надеялся рассмешить сестренку и таким образом помешать ей идти на похороны.

Но Мари Анж невозмутимо сидела в длинной ночной рубашке, вышитой цветочками: она грезилась о черном траурном платье.

---

<sup>2</sup> Неужели вы не можете лежать спокойно! (англ.)

<sup>3</sup> Хотя постыдились бы... в такой день, как сегодня... (англ.)

<sup>4</sup> Скажи это по-английски (англ.).

<sup>5</sup> Я хочу пойти на дедушкины... (англ.)

<sup>6</sup> Нет, милый, ты еще слишком мал (англ.).

<sup>7</sup> Мне уже скоро пять (англ.).

<sup>8</sup> Не надо плакать. Ты пойдешь в другой раз (англ.).

Каково же было ее разочарование, когда служанка принесла белое платье с сиреневым пояском, белую пелеринку и белую шляпку. Однако девочка ничего не сказала.

Мисс Мэйбл принялась одевать ее, а Жан Ноэль как сумасшедший носился вокруг и вопил:

– А она не в черном! А она не в черном!

– Ну и что из этого? – язвительно спросила Мари Анж. – Белое платье – тоже траур, правда, мисс Мэйбл?

Девочка уже немного кокетничала своими красивыми зелеными глазами. Она была на полтора года старше брата и в последнее время жеманно растягивала слова. В отличие от удлиненных глаз Мари Анж у Жана Ноэля глаза были круглые, большие и темно-голубые – настоящие глаза Ла Моннери.

В остальном же дети очень походили друг на друга.

При мысли о том, что Мари Анж, пусть даже в белом платье, все-таки идет на похороны, мальчику захотелось наброситься на сестренку, разорвать ее платье, растоптать лакированные башмачки, но вдруг ему все стало безразлично, и он принялся играть в кубики. У Жана Ноэля нередко бывали такие неожиданные смены настроений, поражавшие его родителей и гувернантку.

В эту минуту вошел Франсуа Шудлер, довольно красивый мужчина лет тридцати, с мощной грудью и гладко причесанными каштановыми волосами. Он был во фраке.

– Мисс Мэйбл, готова Мари Анж? – спросил он.

– Еще минутку, сударь.

Франсуа с любовью смотрел на малышей – румяных, белокурых, таких миловидных и чистеньких. «Прелестные у меня дети», – думал он, играя их кудряшками.

– Надеюсь, сударь, погода не испортится, – любезно сказала мисс Мэйбл и улыбнулась, обнажив при этом длинные зубы.

То, что отец появился утром в парадном костюме, произвело на детей большое впечатление; особенно интриговали их болтавшиеся позади фалды его фрака.

– Папа, а мама тоже сюда придет? – спросила Мари Анж, которой не терпелось узнать, наденет ли мать вечернее платье и креповую вуаль.

– Мама уже на улице Любека, ты поедешь со мной, доченька, – ответил Франсуа.

Приподняв сына, он поцеловал его; мальчик прошептал ему на ухо:

– Папа! Мне тоже хочется на похороны. Знаешь, ведь я очень любил дедушку.

Франсуа расслышал только конец фразы; опуская малыша на пол, он сказал:

– Я в этом уверен. Ты должен всегда помнить о нем.

– А где дедушка будет лежать в церкви? – спросил Жан Ноэль. – Ты мне потом расскажешь?

– Да-да. А теперь будь умником.

Жан-Ноэль подошел к сестренке, которой в это время надевали перчатки, поднялся на цыпочки, чтобы достать до лица Мари Анж, и, прижавшись к ее щеке влажными губками, прошептал:

– Какая ты красивая!

Потом он остановился посреди комнаты в помятой своей пижаме, у которой одна штанина вздернулась чуть не до колена, и полными слез глазами смотрел вслед отцу и сестренке.

## 7

Развернув «Эко дю матен», Симон Лашом вздрогнул, как от удара: его статьи не было.

Ему бросился в глаза растянувшийся на три колонки рисунок Форена, изображавший поэта на смертном одре и выдержанный в характерной для этого художника резкой, нервической и вместе с тем меланхолической манере. Крупными литерами было набрано: «Правительство принимает участие в похоронах Жана де Ла Моннери, которые состоятся сегодня утром». Под рисунком Форена Симон прочел заголовок: «Рассказ о последних минутах». Он заглянул в конец полосы, и сердце его наполнилось бурной радостью: под статьей была *его* подпись, она была напечатана жирным шрифтом, в три раза более крупным, нежели шрифт самой статьи.

В редакции изменили название, вот и все. Он стоял как вкопанный у края тротуара на улице Суфлю, мимо него спешили женщины, неся сумки с провизией, проходили студенты с портфелями, а он не двигался с места, пока не прочел свою статью от первой строчки до последней. Теперь, когда статья была напечатана с разбивкой на абзацы, с набранными курсивом цитатами, она показалась ему куда лучше, чем прошлой ночью. Содержательная, хорошо продуманная статья. Право, к ней нельзя прибавить ни единого слова.

«А все-таки это странная манера – менять заголовок без ведома автора, – подумал он. – Правда, для широкой публики так, пожалуй, понятнее».

В нескольких шагах от себя он заметил невысокого старичка с козлиной бородкой, должно быть отставного чиновника, который тоже остановился и, держа в руках «Эко дю матен», читал его статью. Симону захотелось кинуться к нему и закричать: «Это я Симон Лашом!» Затем он подумал: «Каким он меня представляет? Верно, считает преуспевающим журналистом вроде...»

Он нарочно прошел мимо маленького чиновника, чуть не задев локтем своего первого читателя.

Когда ученики четвертого класса, построенные в коридоре лицея Людовика Великого, увидели подходившего Симона Лашома, они принялись подталкивать друг друга локтями и шушукаться:

– Взгляни-ка на него! Что это с ним стряслось?

И действительно, Симон, медленно приближавшийся в сопровождении господина Мартена, преподавателя истории и географии, выступал в необычном наряде – черном, очень узком пальто и новом огромном котелке. Ему было явно не по себе оттого, что ученики таращили на него глаза, поэтому он держался необыкновенно чопорно и вопреки своей привычке старался не качать головой.

Раздался звонок, ученики вошли в класс. Симон повесил на вешалку пальто и великолепный котелок и собрал домашние работы. Мальчики раскрыли тетради, но перед тем, как продиктовать тему нового сочинения, Лашом сказал:

– Вы, без сомнения, уже прочитали в газетах, которые получают ваши родители, о смерти Жана де Ла Моннери.

Он остановился, словно ожидая, что кто-нибудь крикнет: «Ну конечно, сударь! Мы даже видели вашу статью». На сей раз он бы не сделал замечаний ученику, если бы тот перебил его таким возгласом. Но все молчали.

– Похороны состоятся сегодня, – продолжал Лашом. – Я должен на них присутствовать. Так что в десять часов вы будете свободны.

В классе поднялся радостный гул. Симон постучал ногтем по кафедре.

– Жан де Ла Моннери, – снова заговорил он, – останется в истории французской литературы как один из величайших писателей нашего времени, быть может самый великий. Мне

выпало счастье близко знать его; в последнее время я виделся с ним почти каждую неделю, я считаю его своим учителем... В субботу, когда он умирал, я сидел у его изголовья.

Неожиданно он обнаружил, что глубоко взволнован, и машинально протер очки.

В классе царил полная тишина. Мальчики не предполагали, что их преподаватель знаком со столь знаменитым человеком, чье имя встречалось в учебниках литературы, с человеком, день похорон которого печать именovala днем национального траура.

– Вот почему я хочу нынче утром поговорить с вами о нем и его творчестве, что, кстати, следовало бы делать каждый раз, когда от нас уходит великий человек... Жан де Ла Моннери родился в департаменте Шер, неподалеку от Вьерзона, в тысяча восемьсот сорок шестом году...

Симон говорил дольше, нежели рассчитывал, говорил о вещах, не предусмотренных учебной программой. Мальчики сосредоточенно слушали. И все же в какой-то момент, хотя все по-прежнему сидели неподвижно, Симон почувствовал, что внимание детей ослабевает и они только делают вид, что слушают. Пансионеры в серых блузах и приходящие ученики в коротеньких курточках, все эти семь рядов вихрастых мальчишек с гладкими – без единой морщинки, без единой жировой складки – лицами, мальчишек, едва вступивших в отроческий возраст, еще остававшихся детьми, но уже живших сложной внутренней жизнью, со своими вкусами, своими привязанностями, своими антипатиями, своими надеждами, – все они были где-то далеко, по сути дела, отсутствовали.

Глаза детей, устремленные на измазанные чернилами пальцы с обгрызенными ногтями, ничего не выражали. Голос, доносившийся с кафедры, больше не достигал их красных или бледно-розовых ушей; фразы, даты, которые приводил Симон, больше не возбуждали внимания. Их еще очень скромные познания вертелись вокруг нескольких привычных представлений, и поэтому такие даты, как 1848-й или 1870 год, мгновенно оседали в мозгу, подобно тому как соус оседает на дно тарелки. Но такие даты, как 1846-й или 1876 год, совершенно им не знакомые и бесконечно далекие от них, заставляли школьников лишь удивляться тому, что до сих пор, оказывается, еще не перевелись люди, жившие в столь давние времена.

И ученики сидели смирно, однако все поглядывали на стенные часы, нетерпеливо ожидая, когда же кончится скучный урок, который тянется так медленно, и настанет счастливый час нежданной свободы.

Какой-то юный маньяк что-то записывал, точно машина, ничего при этом не понимая.

И лишь два мальчика в двух противоположных углах класса слушали взволнованно, жадно, сосредоточенно, с выражением недетской серьезности на ребячьих лицах. Симон, продолжая говорить, попеременно смотрел теперь только на них. Он не сомневался, что они в тот же день кинутся в книжную лавку на улице Расина и купят томик избранных стихотворений Жана де Ла Моннери в издании Фаскеля. Стихи, которые они уже начали писать или начнут писать через год, будут отмечены влиянием поэта. И если эти мальчики даже станут когда-нибудь банкирами, адвокатами или врачами, они всю жизнь будут помнить этот час.

Пройдет полвека, и нынешние школьники будут рассказывать своим внукам: «Я был в классе Симона Лашома в день похорон де Ла Моннери».

Симон мысленно повторил: «Я был в классе Лашома» – и посмотрел на часы. Стрелка приближалась к десяти.

– Запишите тему домашнего сочинения к следующей среде, – произнес он. – «Какие мысли пробуждают в нас две первые строфы стихотворения Жана де Ла Моннери «На озеро, как лист, слетает с ветки птица...»» Сравните эти стихи с другими известными вам стихотворениями, которые также навеяны природой.

Пока ученики зашелкивали портфели и выходили из класса, Симон Лашом быстро помечал в своем блокноте: «Для предисловия к посмертному изданию произведений Ж. де Л. М.: «Слава великих людей, за исключением полководцев, вопреки общему мнению не получает



широкого распространения среди толпы. Она поражает лишь воображение избранных, а их немного встречается в каждом поколении; только этим избранникам дано постичь величие истинной славы, и, воспевая имя ушедшего гения, они сохраняют его в памяти своих современников»».

Между тем дети неслись по коридору к швейцарской, радостно вопя:

– Хорошо, если бы каждую неделю умирали какие-нибудь знаменитости!

Симон не слышал их криков; машинально чистя рукавом свой новый котелок, он продолжал размышлять.

## 8

Громкий стук внезапно разбудил малютку Дюаль. Она недовольно поднялась с постели и отворила дверь.

– Ах, это вы? – воскликнула она. – Вы не теряете времени.

Перед ней стоял Люлю Моблан с тросточкой в руке; подняться на пятый этаж по крутой лестнице было для него делом нелегким, он совсем запыхался.

– Я пришел как друг, – с трудом выговорил он, – мы ведь так условились. Кажется, не рады?

– Что вы, что вы, напротив! – ответила Сильвена, спохватившись.

Она пригласила его войти. Лицо у нее было заспанное, глаза припухли, в голове стоял туман. Она дрожала от холода.

– Ложитесь в постельку, – сказал Люсьен, – а то еще простудитесь.

Она набросила на плечи шаль и, подойдя к зеркалу, несколькими взмахами гребня расчесала спутанные волосы. Люлю не отрывал глаз от ее измятой и порванной под мышками ночной сорочки, под которой слегка вырисовывались тощие ягодички, от ее голых щиколоток.

Когда девушка ложилась в постель, он попытался разглядеть ее тело, но потерпел неудачу: Сильвена сжала колени и обтянула рубашку вокруг ног.

Моблан не спеша прошелся по комнате.

Грязные обои кое-где были порваны. Кисейные занавески пожелтели от ветхости и пыли. Единственное окно выходило в мрачный двор, из него были видны такие же грязные окна, такие же пожелтевшие занавески, ржавые водосточные трубы, стены с облупившейся штукатуркой. Снизу доносился стук: сапожник стучал молотком, подбивая подметки.

– У вас здесь очень мило, – машинально проговорил Люлю.

Мраморная доска комода треснула в нескольких местах, в тазу валялось мокрое полотенце со следами губной помады. Люлю Моблан с удовольствием обозревал эту неприглядную конуру: здесь он соприкасался с отребьем общества. Отребьем он считал всех бедняков.

Он остановился перед двумя рисунками, прикрепленными к стене кнопками: на этих рисунках, сделанных сангиной, малютка Дюаль была изображена голый.

Люлю повернулся к кровати и вопросительно посмотрел на Сильвену.

– Я позировала художникам, – пояснила она. – Конечно, не в мастерской, а в художественной школе! Ведь надо же чем-то жить.

– Талантливо, талантливо, – пробормотал он, снова повернувшись к рисункам.

Он продолжал разглядывать комнату. Ничто в ней не говорило о присутствии мужчины, во всяком случае – недавнем. Люсьен опустился на стул возле кровати и кашлянул, чтобы прочистить горло.

– Вчера вечером мы славно повеселились, – сказал он, почесывая подбородок.

– О да, чудесно было! – подхватила девушка.

Голова у нее сильно болела.

– Я, кажется, был немного... навеселе, – продолжал Моблан. – Должно быть, наговорил вам кучу глупостей.

Сильвена в замешательстве смотрела на него; при дневном свете он показался ей еще противнее, чем вечером: она никак не могла привыкнуть к буграм у его висков и к грушевидному черепу, к безобразию, порожденному акушерскими щипцами и придававшему этому почти шестидесятилетнему человеку вид недоношенного ребенка.

«Наконец-то я поняла, на кого он похож, – подумала она. – На гигантский зародыш».

Чтобы отвлечься от этих мыслей, она принялась внимательно разглядывать его широкий черный галстук, обхватывавший высокий крахмальный воротничок, его модный черный

пиджак, распахнутое пальто, брюки в серую полоску. Несмотря на свое уродство, богато одетый Люлю наполнил комнату атмосферой довольства и благополучия.

– Вы всегда так наряжаетесь по утрам? – спросила Сильвена.

– Нет, сегодня я тщательно оделся потому, что отправляюсь на похороны. – Он взглянул на часы. – К вам я ненадолго.

И тотчас же Сильвена почувствовала прикосновение его пальцев к своей руке.

– Мне нравятся скромные, благоразумные девочки, – прошептал он хриплым голосом. – Вы меня сразу расположили к себе.

Его рука поднималась выше, проникла в вырез рубашки, холодная накрахмаленная манжета скользнула под мышку, длинные пальцы старались нащупать грудь.

– О, какая она маленькая, – разнеженно пробормотал Люлю, – совсем, совсем еще маленькая.

Сильвена схватила его руку и отбросила на одеяло.

– Нет, нет, – сказала она. – Вы тоже должны быть благоразумны.

Но рука проникла под одеяло и медленно заскользила по ее бедру.

«Нетрудно будет вовремя его остановить, – подумала малютка Дюаль, – но все же придется ему кое-что разрешить, ведь он для того сюда и явился».

Его пальцы приподняли ночную рубашку, крахмальная манжета царапала кожу. Вся сжавшись, напрягая мускулы, тесно сдвинув ноги, девушка позволяла гладить себя.

«Ну, милый мой, раз уж ты так спешишь, тебе это недешево обойдется», – сказала она себе.

– Да-да, надо быть благоразумным, – бормотал он.

Длинные влажные пальцы сновали по ее гладкому худому животу и замерли...

«Сейчас он побагровеет, начнет тяжело дышать... – И она приготовилась оттолкнуть Моблана. – Во всяком случае, на первых порах».

Но дряблые щеки Люлю Моблана по-прежнему оставались желтовато-бледными, дыхание – ровным, рука под простыней больше не двигалась; Сильвена чувствовала теперь только ритмичное и слабое биение крови в его длинных пальцах. Так прошло несколько долгих минут. Люлю вперил рассеянный взгляд в пятно на обоях, расплывшееся над кроватью, и словно ждал чего-то, что так и не совершилось.

Это притворство, а может быть, тщетная и смехотворная надежда вызвали у девушки еще большее отвращение. Уж лучше бы этот старый манекен в черном галстуке набросился на нее!

По улице проехал тяжелый грузовик и до основания потряс дом.

Люлю отдернул руку, бросил на девушку спокойный, невозмутимый взгляд и произнес:

– А теперь скажите, что я могу для вас сделать? Нуждаетесь ли вы в чем-нибудь? Говорите откровенно... по-дружески. Сколько?

Он наблюдал за ней. Наступила минута его торжества: он брал реванш, видя ее замешательство.

Девушка задумалась лишь на несколько секунд, они потребовались ей для того, чтобы разделить пятьсот на двадцать... «Лучше назвать сумму в луидорах».

– Если уж вы так добры, не можете ли вы... – Остатки стыдливости чуть было не заставили ее сказать «одолжить», но она вовремя спохватилась. – Не можете ли вы дать мне двадцать пять луидоров? Я сейчас в стесненных обстоятельствах.

– Вот и прекрасно. Люблю прямоту.

Он имел дело с ловким партнером в игре.

Люлю Моблан достал из бумажника кредитку, сложил ее вдвое и сунул под ночник.

– На днях я к вам загляну пораньше, – заявил он, вставая. – Будем теперь называть друг друга Люлю и Сильвена. Хорошо?.. До свидания. И не забывайте о благоразумии, слышите, о благоразумии! – прибавил он, погрозив ей указательным пальцем.

– До свидания, Люлю.

Она прислушивалась к замирающему звуку его шагов на лестнице; затем с улицы донесся стук захлопнувшейся дверцы такси. Сапожник все еще вколачивал гвозди. Сильвена соскочила с кровати, выбежала на лестничную площадку и, перегнувшись через перила, крикнула:

– Госпожа Минэ! Госпожа Минэ!

– Что случилось? – слышался из полумрака голос привратницы.

– Подымитесь, я хочу вам кое-что дать.

Привратница вскарабкалась по лестнице. Сильвена сказала, протягивая кредитный билет:

– Госпожа Минэ, разменяйте мне, пожалуйста, деньги, купите шоколада в порошке и полфунта масла, а потом заплатите за уголь...

Старуха, видевшая, как вышел Люлю, высокомерно посмотрела на девушку: в ее взгляде презрение простого человека к низости сочеталось с почтительным отношением к деньгам.

– Придется удержать двести франков за квартиру, – сказала она, – и шестьдесят семь франков, которые вы мне задолжали...

– Ах да, – с грустью вымолвила Сильвена Дюаль.

И пока привратница спускалась по лестнице, девушка подумала: «Может, он завтра опять придет».

## 9

Было зажжено столько свечей, что дневной свет отступил за цветные стекла наружу. В церкви Сент-Оноре-д'Эйлау царила ночь, озаренная тысячами огоньков и золотых точек; казалось, под сводами храма заключена часть небосвода. Мощный орган наполнял это сумеречное пространство грозными звуками; чудилось, что над толпой гремит глас Господень.

На отпевание собрались обитатели Седьмого, Восьмого, Шестнадцатого и Семнадцатого округов города – тех самых, где расположены кварталы, в которых обретались в Париже сильные мира сего. Боковые приделы и галереи до самого портала были забиты до отказа: люди стояли, тесно прижавшись друг к другу; никто не мог двинуть рукой, но все судорожно вытягивали шею, стараясь разглядеть участников грандиозного спектакля.

Этими участниками были знаменитые старцы, сидевшие тесными рядами в самом нефе, по обе стороны от главного прохода. Чтобы обозначить их положение в обществе, у скамей на деревянных подставках установили таблички с надписями: «Французская академия», «Парламент», «Дипломатический корпус», «Университет»...

Госпожа Полан, подавленная размахом и торжественным характером церемонии, была вынуждена передать бразды правления в руки важных господ, облеченных особыми правами. Все протекало по строгому плану. Представители Французской академии в зеленых мундирах, возглавляемые писателем Анри де Ренье, при каждом движении задевали о мраморные плиты пола ножами своих шпаг, которые при этом мелодично звенели. Среди академиков выделялся человек в небесно-голубом мундире, с еще стройной фигурой и седыми усами; глядя на него, присутствующие перешептывались: «Смотрите, Фош!»

Среди темных фраков блистали и другие мундиры, украшенные многочисленными звездами. Лица политических деятелей – бородатых, толстощеких, лысых или пышноволосяных, обрюзгших и подвижных – удивительно походили на их карикатуры, почти ежедневно появлявшиеся в газетах. Некоторые из этих трибунов, садясь, старательно подбирали полы пальто. Над скамьями, отведенными для дипломатов, из меховых воротников выглядывали смуглые физиономии представителей заморских владык и удлиненные лица северян с ровными, прямыми бровями. Университет и магистратура, сверкая лорнетами и пенсне, выставляли напоказ отделанные горностаем пурпурные, желтые и черные тоги. Романисты, завидев друг друга, приветственно кивали. В группе известных людей, не занимавших официального положения, выделялась огромная, грузная фигура Ноэля Шудлера; его черная как смоль остроконечная борода возвышалась над головами соседей. Казалось, то был сам Сатана, приглашенный сюда по ошибке. Шудлер, один из наиболее могущественных людей Парижа, привлекал к себе всеобщее внимание.

Места перед амвоном были заняты прелатами: одни дремали, другие перешептывались, третьи сидели с неприступным видом. Там же восседал и тучный виконт де Дуэ-Души, личный представитель герцога Орлеанского, рядом с ним расположился старик с шелковистыми волосами, представлявший особу императрицы Евгении; они не разговаривали друг с другом.

Среди присутствовавших по меньшей мере человек двадцать могли рассчитывать на столь же пышные похороны. И они знали это. Некоторым оставалось ждать всего лишь несколько месяцев.

И все же они думали о своей смерти как о чем-то неопределенном, далеком, нереальном. Они вставали, снова садились, наклоняли друг к другу морщинистые лица – словом, жили и играли свою роль перед толпой. Оглядывая собравшихся, каждый спрашивал себя, кто же будет виновником следующей траурной церемонии. И хотя все они в одинаковой степени страшились смерти, ни один не допускал мысли, что это может быть именно он.

Что касается женщин, находившихся здесь, то среди них трудно было найти хотя бы одну, на чьей совести не лежало множество грешков. Сюда собрались супруги высокопоставленных лиц, финансовых воротил, титулованных особ, прославленных журналистов – все те, чья жизнь проходит в роскоши и безделье; рядом с этими дамами в замысловатых головных уборах сидели прославленные актрисы. Анна де Ноайль, чья слава могла бы поспорить с известностью самых знаменитых мужчин, была укутана в меха и жестоко страдала от вынужденного молчания. Кассини, прямая, высокая, с трагическим лицом, теребя на шее легкий газовый шарф, изо всех сил старалась показать, что эта утрата была ее личным горем.

Агент похоронного бюро в черных нитяных перчатках встречал у входа прибывающих и подавал им лист, на котором каждый ставил свою подпись; таким образом к концу церемонии этот человек сделался обладателем богатейшего собрания автографов знаменитых людей того времени.

У гроба, впереди почетных приглашенных, разместились члены семьи усопшего во главе с его братьями. Тут был и генерал, чей мундир казался издали голубым пятном на черном фоне, и двое других – Урбен и Жерар; высокие крахмальные воротнички ослепительной белизны подпирали их подбородки. Люлю Моблан явился с опозданием и, пробираясь к своему месту, нарушил торжественную тишину, царившую в соборе.

Худой как скелет Жерар де Ла Моннери, дипломат, прибывший на похороны из Рима, вполголоса заметил Моблану:

- Неужели ты не понимаешь, что приличие требует являться на похороны во фраке!
- Оставь его, он никогда не умел себя вести, – сказал генерал.
- У меня было деловое свидание, – процедил сквозь зубы Люлю.

Госпожа де Ла Моннери не плакала; длинная траурная вуаль выделяла ее из толпы женщин. Когда звуки органа становились особенно резкими, она прижимала пальцы к ушам.

Жаклина и Изабелла избрали благоговейную позу, лучше всего подходившую к их возрасту; почти все время обе стояли на коленях, закрыв лицо руками и опустив голову. Меж двух этих женщин в черных одеждах выглядывала крохотная Мари Анж в белом платице, словно маргаритка меж муравейников.

А чуть поодаль, отделенный от толпы алебардами двух церковных швейцарцев в треуголках с плюмажем, над пирамидой цветов, над пылающим прямоугольником из зажженных свечей, над стоявшими вокруг людьми возвышался огромный помост, задрапированный черным покровом с серебряным позументом; там лежал усопший.

О нем никто не вспоминал – ни дьяконы, ни священник, служивший заупокойную мессу, ни даже Изабелла, которая думала о том, что надо продезинфицировать спальню покойного и ответить на множество писем, выражавших соболезнование.

Каждый из присутствовавших в церкви был слишком важным лицом или полагал себя таковым и потому заботился лишь о своей особе, думал лишь о своих делах.

Что же касается зевак, толпившихся в боковых приделах, то они устали от долгого стояния на ногах и уже вообще ни о чем не думали.

Швейцарцы ударили древками своих алебард о гулко зазвеневшие каменные плиты.

И тогда послышался шум отодвигаемых стульев, падающих тростей; откашливаясь, распрямляя спины, пожимая на ходу друг другу руки, собравшиеся медленно двинулись вперед, чтобы окропить складки черного покрывала святой водой. Массивное серебряное кропило, слишком тяжелое для старческих рук, переходило от правительства к Французской академии, от Академии – к Университету, от Университета – к дипломатам, а от дипломатов – к женщинам, которые некогда любили того, кто теперь неподвижно лежал на помосте, и все еще испытывали сердечный трепет при мысли о нем; от возлюбленных усопшего оно вновь перешло к представителям литературы, науки и искусства и наконец оказалось в руках Симона Лашома. Симон всматривался в лица своих соседей, старался запомнить их и испытывал необыкновенную гор-

достъ оттого, что он по праву находится среди всех этих высокочтимых старцев. Именно во время погребальной церемонии можно наблюдать великих людей вблизи. Шествие прощавшихся проходило перед катафалком и перед членами семьи покойного почти целый час.

Затем тяжелые двери портала распахнулись, и все с изумлением обнаружили, что на улице день. По обе стороны паперти теснилась толпа.

Восемь служителей похоронного бюро сняли с возвышения гроб, на крышке которого покоились шпага и треугольная шляпа, и медленным размеренным шагом, держа гроб на уровне груди, двинулись по главному проходу мимо живых. Симон невольно подумал, что старый поэт, с которого сняли мундир академика, лежит теперь в темном свинцовом ящике в одной лишь накрахмаленной рубашке, длинных белых кальсонах и черных шелковых носках.

Когда хоронят бедняков и за погребальными дорогами следует лишь несколько родственников умершего, каждый встречный сочувственно смотрит на печальный кортеж.

Здесь, напротив, усопший, казалось, отвергал всякую возможность проявления чувств. Исполненный презрения, как бы облаченный в свою украшенную перьями треуголку, он проплывал мимо людей, стоявших шпалерами, и невольно приходило в голову, что этот худой мертвец жил слишком долго и потому никто не испытывает искренней скорби.

Орган прозвучал в последний раз и затих, и тут же послышался звон сабель: это эскадрон республиканской гвардии в касках с конскими гривами воздавал последние почести офицерской звезде ордена Почетного легиона, которую несли за гробом на бархатной подушке. Лошади били копытами о мостовую.

Гигантская статуя Виктора Гюго, возвышавшаяся посреди площади под открытым небом, как бы повернулась спиной к парадному шествию. Сорок лет назад оба поэта запросто сидели друг напротив друга, и тогда тот, кто ныне воплотился в бронзу, напутствовал того, кто теперь лежал в свинцовом гробу.

Распорядитель церемонии почтительно приблизился к Урбену де Ла Моннери, возглавлявшему траурный кортеж, и шепнул ему несколько слов. Маркиз пересек улицу, чтобы поблагодарить офицера, командовавшего отрядом гвардии, и взволнованная толпа смолкла – до такой степени этот старый человек с цилиндром в руке, с венчиком белых волос на голове, в облегающем черном пальто и в лакированных башмаках был по-старинному элегантен и изысканно учтив. Слегка смущенный офицер, которому мешали поводья лошади и темляк сабли, наклонился и пожал руку маркиза с таким почтением, с каким пожимают руку владетельного принца.

Толстый академик, с окладистой бородой, специалист по истории, говорил профессору Лартуа, который всем своим видом выражал глубокое внимание:

– Эти братья Ла Моннери – просто удивительные люди. Все у них проходит с блеском, даже собственные похороны. Взгляните на них: один – генерал, другой – посол. И все это в условиях Республики. А если бы они жили при монархии и поддерживали друг друга, как они это делают сейчас, то принадлежали бы к числу тех до поры до времени неизвестных семейств, которые при воцарении какого-нибудь короля внезапно оказываются на переднем плане и становятся герцогами и пэрами.

Резкий порыв ветра поднял с земли сухую холодную пыль, пробрался под пальто, вздыбил бороду тучного академика. Тот внезапно разразился негодующими восклицаниями по адресу служителей похоронного бюро Борниоля, которые куда-то засунули его плед, – из-за этого он, чего доброго, простудится.

– Я постараюсь все это уладить, дорогой мой, – заторопился знаменитый медик с услужливостью молодого человека.

– О да! Ведь могильщики, должно быть, отлично вас знают! – воскликнул академик, довольный собственным остроумием.

Гроб установили на большой катафалк, украшенный черными султанами, мрачный, как придворная карета испанских королей; пока на погребальной колеснице прилаживали огромные венки, шестерка вороных коней пугливо косилась из-под капюшонов.

Люди, которым предстояло проводить покойного до кладбища, усаживались в автомобили или в большие кареты, ожидавшие на улице Мениль.

Опираясь на руку горничной, прошла госпожа Этерлен, похожая на состарившуюся Офелию.

Поредевшая толпа заполняла тротуары авеню Виктора Гюго и смотрела вслед траурному кортежу.

Прошло еще несколько минут, и перед церковью Сент-Оноре-д'Эйлау не осталось никого, кроме нескольких старых поэтов – долговязых, худых и необыкновенно чопорных; они походили на Жана де Ла Моннери, как дурные копии на подлинное произведение искусства. Пожалуй, только их в какой-то степени интересовали заслуги умершего и вызывали среди них полемику. Впрочем, и они говорили больше всего о собственных заслугах и достоинствах свободного стиха.

Служители похоронного бюро уже устанавливали лестницы и снимали траурные драпировки.



## 10

Коротконогий министр просвещения и изящных искусств Анатоль Руссо, отбросив назад длинную серебрившуюся прядь волос и подкрепляя каждую фразу энергичным взмахом небольшой широкой руки, заканчивал речь.

– В последнее мгновение своей жизни поэт... – бросил министр в толпу и сделал паузу. – В последнее мгновение он сказал... – Господин Руссо снова остановился. – «У меня не останется времени закончить». Удивительные слова... В них одновременно итог целой жизни... и завидная судьба... и стремление завершить начатое дело... стремление, присущее французской нации...

Министр взглянул на визитную карточку, испещренную пометками, затем вскинул голову и, словно взывая к воображаемой аудитории за кладбищенской стеной, воскликнул:

– И я обращаюсь теперь... к пылкой молодежи нашей страны, которая сменит нас завтра во всех областях и которая таит в своих рядах множество талантов...

Слушая министра, Симон Лашом узнавал мысли, высказанные им самим в конце статьи и лишь изложенные другими словами и в другом порядке. Впрочем, эти мысли невольно должны были прийти в голову всякому, кто вдумался бы в последние слова поэта. Министр говорил также о поучительности жизненного пути столь знаменитого поэта. Но откуда стала ему известна последняя жалоба Ла Моннери? И, думая об этом, Симон чувствовал, что сердце его начинает учащенно биться.

– ...когда человек... посвящает все свои силы, всю свою жизнь... упорному, возвышенному труду... он никогда не позволит себе почить на лаврах, считая, что труд этот уже завершен.

Жидкие, до смешного короткие хлопки слышались среди могил и стыдливо смолкли, словно повисли в холодном воздухе. И в ту же минуту какую-то молоденькую родственницу покойного охватил приступ нервного, как сказал бы Лартуа, истерического смеха; по счастью, девушка была под вуалью, и смех мог сойти за подавленное рыдание.

Министр уступил место актрисе театра «Комеди Франсез»; она подошла к самой могиле и прочувственным голосом, в котором приличествующая случаю скорбь смешивалась с боязнью схватить воспаление легких, прочла стихотворения «На озеро...» и «Воспоминание».

А затем из рук в руки снова стало переходить кропило, и каждый махал им над отверстой могилой.

Кассини на минуту прервала монотонный ход обряда. Она упала на колени, набрала горсть земли и бросила ее в яму; мелкие камешки дробно застучали о деревянную крышку гроба.

Профессор Лартуа, в сутолоке очутившийся рядом с Симоном, сказал ему:

– Отличная статья, мой милый, необыкновенно тонкая и умная, в ней сказано как раз то, что следовало сказать. Вы очень талантливы. Впрочем, я в этом не сомневался.

И он представил молодого человека стоявшему рядом главному редактору «Эко дю матен».

– Напишите для нас еще что-нибудь, – сказал тот Симону. – И поверьте, я делаю такие предложения далеко не каждому.

Беседуя таким образом, они прошли мимо склепа, и Симон так и не успел попрощаться со своим учителем.

Члены семьи покойного выстроились в ряд, словно посаженные по линейке кипарисы, и принимали выражения соболезнования.

Симон с восхищением глядел на орденскую командорскую ленту генерала, который, впрочем, так и не узнал его; дивился ужасающей худобе дипломата, стоявшего с моноклем в

глазу; задел локтем Ноэля Шудлера, не подозревая, что это владелец газеты «Эко»; великану также не пришло в голову, что невзрачный малый в очках – автор статьи, опубликованной в тот день на первой полосе принадлежащей ему газеты.

Пожилой господин, шедший впереди Симона, пожал обе руки госпоже де Ла Моннери, проговорив при этом:

– Мой бедный друг...

И Симон услышал, как вдова поэта ответила:

– Увы! С опозданием на двадцать лет...

Когда Симон в свою очередь поравнялся с госпожой де Ла Моннери, она машинально повторила тем же растроганным голосом:

– С опозданием на двадцать лет...

Мари Анж, торжественная, оживленная, раздурманенная морозом, стояла рядом со своей опечаленной матерью и, подражая взрослым, чопорно произносила вслед каждому проходившему мимо нее: «Благодарю вас... благодарю вас...» Она говорила это и тогда, когда ее трепали по щечке, и тогда, когда на нее не обращали внимания.

Миновав шеренгу родственников, Симон, как, впрочем, и все остальные, вздохнул с облегчением и направился к выходу. Ему встретилась госпожа Этерлен; она не сочла возможным подойти к семье поэта и теперь незаметно покидала кладбище, по-прежнему опираясь на руку горничной.

– Ах, господин Лашом, – произнесла она слабым, едва слышным голосом, – мне так хотелось вас увидеть... Ваша статья потрясла... буквально потрясла меня... В ней столько душевного волнения, столько чувства... Подумать только, наряду с такими возвышенными мыслями в нем жила и мысль обо мне... Лартуа не хотел, чтобы я присутствовала на похоронах, его тревожит мое здоровье. Но какое имеет теперь значение мое здоровье?..

Министр Анатоль Руссо, вокруг которого все время толпились люди, внезапно очутился в одиночестве; прогуливаясь по аллее, окаймленной бордюром из букса, он, казалось, внимательно изучал надписи на могильных памятниках. Симон в нерешительности остановился, затем с бьющимся сердцем подошел к нему.

– Господин министр, – начал он, – я имел честь быть представленным вам в октябре на происходившей в Сорбонне церемонии в честь преподавателей Университета, сражавшихся в армии... Симон Лашом.

– Да-да, – вежливо произнес министр, протягивая ему свою широкую руку. Затем его взгляд стал внимательнее. – Лашом... Лашом... Вы, кажется, пишете? Постойте, ведь это ваша статья опубликована нынче утром? Я читал ее. Она мне очень понравилась. Да, ведь вы близко знали Ла Моннери. Что вы поделяете в настоящее время?

Симон пробормотал что-то невнятное, а министр, указывая тростью на один из памятников, проговорил:

– Нет, это просто непостижимо! До чего же дурной вкус господствовал в былые времена!

Затем с видом человека, привыкшего дорожить своим временем, он прибавил:

– Итак, господин Лашом, чем я могу быть вам полезен?

Симон спросил себя, не допустил ли он бестактность, обратившись к министру без надобности. Но Анатоль Руссо как будто забыл о своем вопросе, и они, продолжая болтать, направились к выходу с кладбища. Симон с удовлетворением отметил, что ростом он на несколько сантиметров выше министра.

– Не могу понять, куда девался мой секретарь, – сказал Руссо, оглядываясь.

Затем повернулся к Лашому.

– Вы, должно быть, без автомобиля? Где вы живете?.. В Латинском квартале? О, вам повезло! Ну что же, все складывается как нельзя лучше. Мне надо заехать в министерство. Садитесь рядом со мной.

Неловко забившись в глубину большого «делоне-бельвиля», Симон никак не мог решить, оставаться ему в головном уборе или нет. В конце концов, стараясь держаться как можно непринужденнее, он снял свой котелок.

– Устраивайтесь поудобнее, укутайте ноги, сегодня не жарко, – сказал министр, укрывая колени – свои и соседа – широкой меховой полостью, словно они отправлялись в далекое путешествие.

Затем короткопалой старческой рукой с припухшими суставами он протянул Симону черепаховый портсигар, набитый дорогими сигаретами.

Симон с сожалением смотрел, как быстро мелькают улицы. Он обнаружил, что министр Анатоль Руссо, которого многие газеты именовали невеждой, на самом деле человек весьма образованный, с живым, деятельным умом.

Внезапно он почувствовал почтительное, дружеское расположение к этому коренастому, приземистому человеку с седеющими волосами, выбивавшимися из-под цилиндра, с сорочьиими глазами, мигавшими в такт словам, с изборожденным морщинами лицом, на котором годы оставили след, подобно тому как они оставляют след на коре дерева; неожиданная симпатия к Анатолю Руссо напоминала Симону то чувство, какое он испытывал, глядя в свое время на Жана де Ла Моннери.

Министр догадывался, что нравится своему собеседнику, и старался еще больше расположить его к себе. Он знал, что лучший путь к этому – душевная беседа. Ничто так не льстит людям, как откровенность человека, облеченного властью.

– Я вам завидую, – говорил Анатоль Руссо. – Ведь вы можете часто бывать у поэтов, писать научные исследования, у вас есть для этого время. На заре моей жизни я тоже писал. Я опубликовал немало статей в журналах. И вот уже много лет... даже не берусь сказать сколько... не занимаюсь этим. Но часто мне хочется вновь вернуться к литературным занятиям. Видите ли, в каждом из нас заложены различные дарования, и никогда не знаешь, верен ли тот жизненный путь, какой ты избрал.

– Мне кажется, у человека бывает одно наиболее выраженное дарование, и в конце концов оно обязательно проявится, – сказал Симон.

– Не думаю, – возразил Руссо. – Больше того, я убежден, что любой человек достоин лучшего удела, чем тот, который он себе избирает.

Когда «делоне-бельвиль» остановился у здания министерства, Анатоль Руссо сказал шоферу:

– Португа, отвези господина Лашома домой, а потом приезжай за мной.

Затем он повернулся к Симону:

– Мы должны с вами вновь увидеться. Постойте! Что вы делаете в следующую пятницу? У меня на приеме будут румынские писатели. Это может представить для вас интерес. Приходите вечером, без четверти десять или ровно в десять... В пиджаке.

И министр почти бегом поднялся по каменной лестнице.

Оставшись один в автомобиле министра, Симон даже не глядел через стекло, до такой степени он был полон гордости. Кончиками пальцев он поглаживал меховую полость, обычно согревавшую колени повелителя всего университетского мирка.

Лашом заметил на сиденье несколько сложенных газет, среди них лежала и «Эко дю матен»; заключительная часть его статьи была отчеркнута красным карандашом.

«Так вот оно что, – подумал он. – Впрочем, статья отличная; бесспорно, это лучшее из всего, что я написал».

И Симон спросил себя: уж не станет ли он знаменитостью в одни сутки, подобно тому как прославился в свое время Жан де Ла Моннери, написав свое хрестоматийное стихотворение?

В то время Симон еще не знал, что личные достоинства и талант – необходимые, но далеко не достаточные условия для того, чтобы человек возвысился над своими ближними;

он не знал, что нужны еще дополнительные и на первый взгляд незаметные обстоятельства: например, кстати произнесенная умирающим фраза или же счастливая встреча со стареющим министром, который на кладбище разминутся со своим секретарем, а меж тем привык, чтобы кто-нибудь всегда сидел рядом с ним в машине.

Симон не хотел подъезжать в автомобиле к своему неприглядному дому, и, попросив шофера остановиться на площади Пантеона, он сделал вид, будто направляется в библиотеку Святой Женевьевы. Весь остальной путь он прошел пешком. И шагал с видом победителя.

У подъезда ему повстречалась жена: она ходила за покупками и теперь возвращалась с хлебом в руках. Поравнявшись с ней, Симон сказал:

– Какое чудесное утро!

## Глава третья

### Замужество Изабеллы

#### 1

Профессор Эмиль Лартуа спустил на окнах своего кабинета белые клеенчатые занавеси. Он любил работать при электрическом свете, яркость которого можно регулировать по желанию. В этот знойный день комната напоминала куб, наполненный свежим, прохладным воздухом; здесь была больничная чистота и слегка пахло лекарствами.

– Ну, дружок, что с вами стряслось? – спросил Лартуа. – Задержка на пять недель? Быть может, ложная тревога? Сейчас посмотрим. Разденьтесь, пожалуйста.

Не переставая говорить, он вымыл руки и тщательно их вытер.

– Как давно мы с вами не виделись? Пожалуй, около полугода? Да, со времени кончины вашего дяди, даже больше чем полгода. Вы, верно, слыхали, как низко со мной поступили в Академии? Позор, да и только! Мое избрание было предрешено, ни у кого не вызывало сомнений... Да-да, раздевайтесь совсем, так удобнее... Но вот за неделю до выборов Домьер решает выставить свою кандидатуру и пускает в ход все свои связи. Старая песня: «Бедняга Домьер при смерти, мы должны доставить ему последнюю радость! Бедняга Домьер не дотянет до лета, у него рак горла, он не в силах даже ездить с визитами!» И в результате Домьер избран.

Лартуа открыл стеклянный шкафчик, достал оттуда несколько зазвеневших никелированных инструментов и разложил их на столе.

– А вечером в день выборов, – продолжал он своим резким голосом и, как всегда, манерно, – меня посетили двадцать академиков. Все рассыпа`лись в любезностях. Еще бы! Ведь я постоянно вожусь с их старческими недугами и чаще всего делаю это бесплатно... Если их послушать, все они голосовали за меня. Правда, одни в первом туре, а другие – во втором. «Поверьте, для первого раза двенадцать голосов – это прекрасно!.. Если бы не этот бедняга Домьер... На следующих выборах вы обязательно одержите блистательную победу, вот увидите...» Нет, дорогая, чулки можете не снимать... И что же, прошло уже больше двух месяцев, а «бедняга Домьер» чувствует себя так же хорошо, как мы с вами. Согласитесь, так вести себя просто неделикатно, это похоже на злоупотребление доверием. Спрашивается, стоит ли после подобного предательства вновь выставять свою кандидатуру? Как вы думаете?

Лартуа надел на голову тонкий блестящий обруч и приладил ко лбу лампу с рефлектором. Электрический шнур сбегал по пиджаку и тянулся по полу.

– Ну конечно, конечно, профессор, вы обязательно должны выставить свою кандидатуру, – машинально ответила Изабелла.

Во взгляде ее сквозили беспокойство и страх. У нее была низкая грудь, крутые бедра, пупок глубоко вдавливался в смуглый живот. По ее позе было видно, что ей стыдно стоять перед Лартуа совершенно обнаженной.

– Да, именно так мне и советуют поступить друзья, – ответил Лартуа. – Ну а теперь посмотрим, что с вами.

Он зажег лампу с рефлектором, Изабелла больше не видела его лица. Внезапно он превратился в существо из другого мира, с другой планеты, в какого-то циклопа, одетого в синий костюм и черные ботинки; два пальца его левой руки были в резиновой перчатке, за чудовищным глазом марсианина скрывался мозг.

– А знаете, милочка, вы очень, очень недурно сложены, – услышала она его резкий голос.

Но слова, которые доносились из-под зеркального сверкающего диска, звучали совсем необычно. Электрический луч пронзил ее зрачок, а палец, одетый в резину, вывернул веко и обнажил глаз под слепящим светом. Затем обе руки медленно и тщательно, даже слишком медленно, как казалось Изабелле, принялись ощупывать ее грудь. Вместе с чувством тревоги росло и ощущение неловкости. После того как Изабеллу ослепил резкий электрический свет, перед ее глазами все расплывалось. Ей не терпелось поскорее узнать правду о своем положении, и она спрашивала себя, так ли уж необходим этот предварительный осмотр, вся эта процедура.

– Грудь болят? – слышалось из-за рефлектора. – Нет? Немного? Так-так... Теперь прилягте сюда.

И марсианин повернулся к гинекологическому креслу. Изабелла оказалась распростертой на спине в униженной позе, с запрокинутой головой, со ступнями, вдетыми в металлические стремена. Она ощутила боль и вскрикнула.

Про себя она сулила пожертвовать деньги всем известным ей благотворительным учреждениям, словно это обещание могло воздействовать на диагноз. Резиновые пальцы исследовали слизистую оболочку, а тем временем правая рука, нажимая на живот, помогала обнаружить зародыш, определить его величину.

Наконец врач выпрямился, погасил лампу, снял головной убор робота и вновь превратился в обычного Лартуа.

– Ну-с, дорогая... – произнес он.

Изабелла почувствовала облегчение. Не мог же профессор говорить так спокойно, если бы то, чего она страшилась...

И все-таки она услышала:

– Вы беременны. Вы и сами подозревали это, не правда ли?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.